

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Боярщина

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660875

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 1: Издательство
«Правда», биб-ка «Огонек»; М.: 1959*

Аннотация

Роман «Боярщина», одно из самых ярких и колоритных творений Писемского, был завершён осенью 1844 года. Здесь изображены уродливые нравы и быт помещичьего общества.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	19
III	39
IV	53
V	59
VI	66
VII	75
VIII	85
IX	113
X	128
XI	136
Часть вторая	148
I	148
II	164
III	177
IV	188
V	198
VI	208
VII	224
VIII	237
IX	251
X	262

XI	282
XII	288
Примечания	293

**Алексей Феофилактович
Писемский
Боярщина
*Роман в двух частях***

Часть первая

I

В одной из северных губерний, в С... уезде, есть небольшая волость, в которой, по словам ее обитателей, очень большое, а главное, преприятное соседство. Всякий, кому только господь бог соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заметил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случилось проезжать целые уезды, не набредя ни на одно жилое барское поместье, хотя часто ему метался в глаза господский дом, но – увы! – верно, с заколоченными окнами и с красным двором, глухо заросшим крапивою; но никак нельзя было этого сказать про упомянутую волость: усадьбы ее были и в

настоящее время преисполнены помещиками; немногие из них заключали по одному владельцу, но в большей части проживали целые семейства. Местечко это еще исстари прозвано было Боярщиной, и даже до сих пор, если приедет к вам владимирец-разносчик и вы его спросите:

– Откуда, плут, пробираешься?

– Из Боярщины, сударь... Около месяца там плутовал, – ответит он вам.

– Там?

– Там-с. Такое уж там для нас место притоманное.¹

Заседатель земского суда как, бывало, попадет уида на следствие, так месяца два, три и не выедет: все по гостям, а исправник, которого очень все любили, просто не выезжал оттуда: круглый год ездил от одного помещика к другому. На баллотировках боярщинцы всегда действовали заодно и, надобно сказать, имели там значительный голос, тем более что сам губернский предводитель был из числа их.

На северном краю этой волости есть усадьба Могилки, которая как-то резко отличалась от прочих усадеб тем, что вся обнесена была толстым деревянным забором. Двухэтажный, с небольшими окнами, господский дом был выкрашен серою краскою; от самых почти окон начинал тянуться огромный пруд, бе-

¹ Притоманное – коренное, привычное.

рега которого густо были обсажены соснами, разросшимися в огромные деревья, которые вместе с домом, отражаясь в тинистой и непрозрачной воде, делали пруд похожим на пропасть; далее за ним следовал темный и заглохший сад, в котором, кажется, никто и никогда не гулял. Высокие, покрытые острым колпаком флигеля, также с маленькими окнами и посеревшие от времени, тянулись от господского дома по обоим бокам и заключались скотными дворами, тоже серыми, которые были обильно, но неаккуратно покрыты соломою. При самом почти въезде в усадьбу, на правой руке, стояла полуразвалившаяся часовня, около которой возвышалось несколько бугров, напоминавших о некогда бывшем тут кладбище. Одним словом – все как-то было серо и мрачно и наводило на вас грустное и неприятное чувство. Всякий раз, когда я проезжал мимо этой усадьбы, меня поражало необыкновенное ее сходство с раскольничьим кладбищем. Лет двадцать назад в этой усадьбе жил высокий, худощавый старик, Егор Егорыч Задор-Мановский, который один из всех соседних дворян составлял как бы исключение: он ни к кому не ездил, и у него никто не бывал. Про него носились весьма невыгодные слухи: говорили, что будто бы он уморил жену и проклял собственного сына за то, что тот потребовал в свое распоряжение материнское имение. Но это бы-

ли одни слухи; достоверно же знали только то, что сын лет двенадцать не бывал у отца.

– Нужно бы нам подобраться к Задор-Мановскому, – часто говаривал губернский предводитель.

– Нужно бы, ваше превосходительство, – подхватывал с...кий исправник.

– Да как подберешься? – продолжал предводитель.

– Именно, как подберешься? – заключал исправник.

Между тем, покуда они решали этот вопрос, Задор-Мановский скоропостижно умер, и после него стало совершаться все то, что обыкновенно совершается по смерти одиноких людей: деньги и вещи, сколько возможно, были разворованы домашними, а остальные запечатаны. Некоторые из соседей приехали на похороны, пожалели о покойнике, открыли его несколько редких добродетелей, о которых при жизни и помину не было, и укоряли, наконец, неблагодарного сына, не хотевшего приехать к умирающему отцу. Пять лет после того Могилки пустели. Наконец, в них приехал новый господин – сын покойника, Михайло Егорыч Задор-Мановский, и приехал не один, а с молодою женою. Последнее обстоятельство не понравилось особенно тем из соседей, у которых на руках были взрослые дочери, потому что Мановский, несмотря на невыгодные слухи об отце, был очень вы-

годный жених. Все знали, что у него триста незаложённых душ, да ещё, в придачу, на несколько тысяч ломбардных билетов; сверх того, он был полковник в отставке.

– Я думаю, будет в батюшку и станет жить медведем, – проговорили многие.

Но предсказание это не сбылось. В продолжение двух недель после своего приезда Мановский посетил почти всех соседей и пригласил их к себе. Результат таких посещений было то, что сам Задор-Мановский понравился всем; скажу более, внушил к себе уважение. Правда, приемы его были несколько угловаты, но вежливы, мысли резки, но основательны. Что касается до его наружности, то он был в полном смысле атлет, в сажень почти ростом и с огромной курчавой головой. По значительному развитию ручных мускулов нетрудно было догадаться, что он имел львиную силу. Впрочем, багровый, изжелта, цвет лица, тусклые, оловянные глаза и осиплый голос ясно давали знать, что не в неге и не совсем скромно провел он первую молодость, но только железная натура его, еще более закаленная в нужде, не поддавалась ничему, и он, в сорок лет, остался тем же здоровяком, каким был и в осьмнадцать.

Но совершенно другое впечатление произвела на общество его жена. Посещая, вместе с мужем, сосе-

дей, она вела себя как-то странно: после обычных приветствий, которые исполняются при новых знакомствах и которые, надо отдать справедливость, Мановская высказывала довольно ловко и свободно, во все остальное время она молчала или только отвечала на вопросы, которые ей делали, и то весьма коротко. Более тонкий наблюдатель с первого бы взгляда заметил по грустному выражению лица молодой женщины, что молчаливость ее происходила от какого-то тайного горя, которое, будучи постоянным предметом размышлений, отрывало ее от всего окружающего мира и заставляло невольно сосредоточиваться в самой себе. Но не так показалось это соседям. «Она горда», – сказали победнее из них; «Она глупа», – решили богатые. Наружность ее тоже не понравилась. Это была блондинка; черты лица ее были правильны, но она была худа; на щеках ее играл болезненный румянец, а тонкие губы были пепельного цвета. Эти признаки органического расстройства и были причиной, что в наружности m-me Мановской соседи и соседки, привыкшие более видеть в своих дочках здоровую красоту, не нашли ничего особенного, за исключением довольно недурных глаз. Мановский в гостях обходился с женой не очень внимательно, дома же, при посторонних, он был с ней повелителен и даже почти груб. Это еще более уронило Мановскую в глазах со-

седей. «Ее, кажется, и муж-то не любит», – говорили одни; «И не за что», – подтверждали другие.

Так прошли два года. Задор-Мановский сделался одним из главных представителей между помещиками Боярщины. Его все уважали, даже поговаривали, что вряд ли он не будет на следующую баллотировку предводителем. Дамам это было очень досадно. «Вот уж нечего сказать, будет у нас предводительша, дает же бог таким счастье», – говорили они...

Перенесемся, однако, на несколько времени в Могилки. Гостиная Мановских была самая большая и холодная комната в целом доме. Стены ее были голы; кожаная старинная мебель составляла единственное ее убранство. Она была любимым местопребыванием Михайла Егорыча, который любил простор и свежий воздух. Рядом с гостиной была спальная комната, в которой целые дни просиживала Анна Павловна. Однажды, это было в начале мая, Михайло Егорыч мерными шагами ходил по гостиной. На лице его была видна досада. Он только что откуда-то приехал. Несмотря на то, что в комнате, по причине растворенных окон, был страшный холод, Мановский был без сюртука, без галстука и без жилета, в одних только широких шальварах с красными лампасами. Молодой, лет двадцати, лакей в сером из домашнего сукна казакине перекладывал со стула на руку барское

платье.

– Вы, этта, соколики, – начал Мановский, – ездивши с барыней к обедне, весь задок отворотили у коляски, шельмы этакие? И молчат еще! Как это вам нелегкая помогла?

– Лошади разбили-с. Не то что нас, барыню-то чуть до смерти не убили, – отвечал лакей.

– Прах бы вас взял и с барыней! Чуть их до смерти не убили!.. Сахарные какие!.. А коляску теперь чини!.. Где кузнец-то?.. Свой вон, каналья, гвоздя сковать не умеет; теперь посылай в чужие люди!.. Одолжайся!.. Уроды этакие! И та-то, ведь как же, богу молиться! Богомольщица немудрая, прости господи! Ступай и скажи сейчас Сеньке, чтобы ехал к предводителю и попросил, нельзя ли кузнеца одолжить, дня на два, дескать! Что глаза-то выпучил?

– Семена дома нет-с, – отвечал лакей.

– Это как? Где же он?

– В город на почту уехал; барыня послали.

– Да ведь я говорил, – вскрикнул Мановский, – чтобы ни одна бестия не смела ездить без моего спросу.

– Барыня изволили послать.

– Как барыне не послать? Помещица какая! Хозяйством не занимается, а только письма пишет – писательница! Как же, ведь папеньку надобно поздравить с праздником, – только людей да лошадей гонять! По-

шел, скажи кучеру, чтобы съездил за кузнецом.

Лакей ушел. Михайло Егорыч, надевши только картуз и в том же костюме, отправился на конский двор.

Анна Павловна, сидевшая в своей спальне, слышала весь этот разговор; но, кажется, она привыкла к подобным выходкам мужа и только покачала головой с какою-то горькою улыбкой, когда он назвал ее писательницей. Она была очень худа и бледна. Через четверть часа Мановский вернулся и, казалось, был еще более чем-то раздосадован. Он прямо пошел в спальню.

– Что у нас теперь делают? – спросил он, садясь в угол и не глядя на жену.

– Ячмень сеют. Овес вчерашний день кончили, – отвечала та.

– Много ли высеяно ячменя?

– Сегодня я не знаю.

– Да что ж вы знаете? – перебил Мановский. – Я, кажется, говорил вам, чтобы вы сами наведывались в поле, а то опять обсевки пойдут.

– Но я больна, Михайло Егорыч!

– Вечная отговорка: я больна! Надели бы шубу, коли очень знобки. Для чего вы здесь живете? Последняя коровница и та больше пользы делает. Людей рассылать да коляски ломать ваше дело! Будь я подлец, если я не запроу все экипажи на замок; вон навозных те-

лег много, на любой извольте кататься! Что это в самом деле, заняться ничем не хочет: столом, что называется, порядочно распорядиться не умеет! Идет бог знает сколько, а толку нет! Куда этта, в два месяца, какие-нибудь вышел пуд крупчатки? Знаете ли вы это? Ведь ничего не понимаете! Что у нас, – балы, что ли? Белоручка какая! Я больна!.. Я нездорова!.. Я не могу!.. вспомнили бы лучше, много ли приданого-то принесли, – только бабий хвост, с позволения сказать.

– Зачем же вы женились на мне?

– Кто вас знал, что вы аферисты этакие! За меня в Москве купчихи шли, не вам чета, со ста тысячами. Так ведь как же, фу ты, боже мой, какое богатство показывали! Экипаж – не экипаж, лошади – не лошади, по Петербургам да по Москвам разъезжали, миллионеры какие, а на поверку-то вышло – нуль! Этакой подлости мужик порядочный не сделает, как милый родитель ваш, а еще генерал!

Последние слова, кажется, более всего оскорбили и огорчили Анну Павловну: она вся вспыхнула и заплакала.

– Как же, ведь нюни распустить сейчас надобно!.. Ужасно как жалко! Я вот сейчас сам зарыдаю!..

Анна Павловна продолжала плакать.

– За что вы меня мучите, – проговорила, наконец, она грустным голосом, – что я вам сделала? Я проси-

ла и прошу вас об одном, чтоб вы не бранили при мне моего отца. Он не виноват, он не знал, что вы женились не на мне, а на состоянии.

– Скажите, пожалуйста! Он не знал этого, какой малолеток! Он думал, что дочку в одной юбке отпустить благородно? Золото какое! Осчастливил!

– Я вас давно просила отпустить меня. Зачем я вам? Вы меня не любите и не уважаете!

– Смею ли я вас не уважать, помилуйте! Глубочайшее почтение должен питать! Как же, ведь такая красавица! Такая образованная! Как мне вас не уважать? Вами только и на свете существую.

Мановский долго еще бранился; но Анна Павловна не говорила уже ни слова; наконец, видно, и ему наскучило: он замолчал и все сидел насупившись.

Молодой лакей вошел и сказал, что обед готов. Михайло Егорыч пошел первый. Он выпил первоначально огромную рюмку водки, сел и, сам наливши себе полную тарелку горячего, начал есть почти с обжорством, как обыкновенно едят желчные люди. Анна Павловна сидела за столом больше для виду, потому что ничего не ела. Между тем выражение лица Мановского в той мере, как он наедался, запивая каждое блюдо неподслащенной наливкой, делалось как будто бы добрее. Вставши из-за стола, он выкурил залпом три трубки крепкого турецкого табаку и лег в го-

стиной на диван. Анна Павловна прошла в спальню.

Мановский, кажется, думал заснуть, но не мог.

– Анна Павловна! Подите сюда! – крикнул он.

Анна Павловна не отвечала. Михайло Егорыч снова позвал ее, но она не шла и даже не откликнулась, а потом, потихоньку вставши, хотела уйти из спальни, но Михайло Егорыч увидел ее в зеркале.

– Куда же вы? Говорят вам, подите сюда! – произнес он.

Анна Павловна остановилась в раздумье.

– Подите сюда, – повторил Мановский.

Анна Павловна вошла и села в некотором отдалении на кресло.

– Сядьте сюда поближе, – сказал Мановский.

Анна Павловна не трогалась. Михайло Егорыч достал ее рукою и посадил к себе на диван. Он, видимо, хотел приласкаться к жене. У Анны Павловны между тем лицо горело, на глазах опять навернулись слезы.

– Оставьте меня, – проговорила она, отодвигаясь на другой конец дивана.

Михайло Егорыч молча придвинул ее к себе.

– Ну, помиримтесь, поцелуйте меня, – проговорил он несколько ласковым голосом.

Анна Павловна поцеловала его. Слезы ручьями текли по ее щекам.

– О чем вы плачете? Что за глупости! – проговорил

Мановский и, наклонив голову жены, хотел ее еще поцеловать. Анна Павловна не в состоянии была долее владеть собой: почти силой вырвалась она из рук мужа и, проговорив: «Оставьте меня!» – ушла. Мановский посмотрел ей вслед озлобленным взглядом и по крайней мере около часу просидел на диване нахмуренный и молчаливый, а потом велел себе заложить беговые дрожки и уехал. Одевавший и провожавший его молодой лакей вернулся в прихожую в каком-то раздумье; постояв, он развел что-то руками и лег на залавок.

– Костя! Куда барин уехал? – спросила горничная девушка Анны Павловны, Матрена, заглянувши в лакейскую.

– В Спиридоново, чай, – отвечал тот.

– К Марфе?

– Ну да.

– Ой, господи, согрешили грешные, – проговорила горничная в раздумье.

– Да тебе чего тут жаль? – проговорил лакей.

– Барыню больно жаль, сидит да плачет...

– Что плакать-то. Не сегодня у них согласия нет: все друг дружке наперекор идут. Он-то вишь какой облом, а она хворая.

– Что ж, хворая? – возразила горничная.

– Что хворая! Известно: муж любит жену здоровую,

а брат сестру богатую.

– Да уж это так, – отвечала горничная и ушла в девичью.

– Да, так... Знаем тоже и тебя... Пошто вот Марфе попадает, а не мне, – знаем! – произнес сам с собой лакей и, прикорнувши головой на левую руку, задремал.

II

Спустя месяц после описанного нами происшествия вся Боярщина собиралась в доме у губернского предводителя. Это был день именин его жены. Все почти общество было в гостиной. Самой хозяйки, впрочем, не было дома. Она уже года три жила без выезда в Петербурге, потому что, по ее собственным словам, бывши до безумия страстною матерью, не могла расстаться с детьми; а другие толковали так, что гвардейский улан был тому причиной. Не менее того, именины ее ежегодно справлялись в силу того обычая, что губернские предводители, кажется, и после смерти жен должны давать обеды в день их именин. Сам хозяин, маленький, седенький старичок, с очень добрым лицом, в камлотовом сюртуке, разговаривал с сидевшей с ним рядом на диване толстою барынею Уситковою, которая говорила с таким жаром, что, не замечая сама того, брызгала слюнями во все стороны. Она жаловалась теперь на станового пристава. Все кресла, которые обыкновенно в количестве полутора дюжин расставляются по обеим сторонам дивана, были заняты дамами в ярких шелковых платьях. Некоторые из них были в блондовых чепчиках, а другие просто в гребенках. Лица у всех по большей части

были полные и слегка у иных подбеленные. Несколько мужчин, столпившись у дверей, толковали кой о чем. Другие ходили или, заложивши руки назад, стояли и только по временам с каким-то странным выражением в лице переглядывались с своими женами. Соседняя с гостиной комната называлась диванной. В ней также помещалось несколько человек гостей: приходский священник с своей попадьей, которые тихо, но с заметным удовольствием разговаривали между собою, как будто бы для этого им решительно не было дома времени; потом жена станового пристава, которой, кажется, было очень неловко в застегнутом платье; гувернантка Уситковой в терновом капоте² и с огромным ридикюлем, собственно, назначенным не для ношения платка, а для собирания на всех праздниках яблок, конфет и других сладких благодатей, съедаемых после в продолжение недели, и, наконец, молодой письмоводитель предводителя, напомаженный и завитой, который с большим вниманием глядел сквозь стекло во внутренность стоявших близ него столовых часов: ему ужасно хотелось открыть: отчего это маятник беспрестанно шевелится. Кроме этих лиц, здесь были еще три собеседника, которые, видимо, удалились из гостиной затем, что-

² В терновом капоте – в капоте, сшитом из тонкой шерстяной, с примесью пуха, ткани – терно.

бы свободнее предаваться разговорам, лично для них интересным. Это были: племянница хозяина, довольно богатая, лет тридцати, вдова; Клеопатра Николаевна Маурова. Высокая ростом, с открытой физиономией, она была то, что называют *belle femme*³, имея при том какой-то тихий, мелодический голос и манеры довольно хорошие, хотя несколько и жеманные; но главное ее достоинство состояло в замечательной легкости характера и в неподдельной, природной веселости. Сидевшая с нею рядом особа была совершенно противоположна ей: это была худая, желтая, озлобленная девственница, известная в околотке под именем барышни, про которую, впрочем, говорили, что у нее было что-то такое вроде мужа, что дома ее кололо, а когда она выезжала, так стояло на запятках. Третье лицо был молодой человек: он был довольно худ, с густыми, длинными, а ля мужик, и слегка вьющимися волосами; в бледном и выразительном лице его если нельзя было прочесть серьезных страданий, то по крайней мере высказывалась сильная юношеская раздражительность. По модному черному фраку и гладко натянутым французским палевым перчаткам, а главное по стеклышку, которое он по временам вставлял в глаз, нетрудно было догадаться, что он недавно из столицы.

³ красавица (франц.).

Эти три лица разговаривали о чувствах и страстях.

– Итак, Эльчанинов, вы говорите, что ваш идеал – женщина страдавшая, вот уж не понимаю, – говорила Клеопатра Николаевна, пожимая плечами.

– Что тут непонятного? – отвечал молодой человек. – Горе облагораживает и возвышает душу женщины, как и человека вообще.

– Ах, боже мой! – подхватила вдова. – После этого всякая женщина может быть идеалом, потому что всякая женщина страдает. Полноте, господа! Вы не имеете идеала. Я видела мужчин, влюбленных в таких милых, прекрасных женщин, и что же после? Они влюблялись в уродов, просто в уродов! Как вы это объясните?

– Я могу объяснить только то, что сам переживал, – отвечал молодой человек.

– Клеопатра Николаевна вас спрашивает про наружность вашего идеала, – заметила барышня с ядовитой улыбкой. – Страдает ведь всякая женщина, – прибавила она.

– Про наружность я не могу вам сказать определенно, – отвечал молодой человек. – Впрочем, мне лучше нравятся женщины слабые, немножко с болезненным румянцем и с лихорадочным блеском в глазах.

– Станный вкус! – сказала с усмешкой вдова. –

Здесь есть одна такая женщина, только жаль, что несколько глупа.

– А, понимаю, о ком вы говорите, – заметила барышня, – о Зе?

– Конечно, о ком же больше, – отвечала Клеопатра Николаевна.

– Кто такая Зе? – спросил молодой человек.

– Женщина слабая, с болезненным цветом лица, с лихорадочным блеском в глазах и вдобавок еще глупенькая, – отвечала Клеопатра Николаевна.

– Худая и больная женщина вряд ли может быть глупа, – возразил молодой человек. – Все дураки пользуются обыкновенно благом здоровья: у них тело развеивается на счет души.

– Желаю вам отыскать поскорее ваш идеал, – сказала вдова, поспешно вставая. – Пойдемте, Nathalie, – прибавила она, взяв за руку свою собеседницу. Обе дамы пошли в гостиную.

Несмотря на старание скрыть, досада промелькнула в лице Клеопатры Николаевны.

Молодой человек с насмешливой гримасой посмотрел им вслед. Это был один из соседних помещиков, некто Валерьян Александрыч Эльчанинов. Мнение соседей об нем было такое, что матушкин баловень, которая возилась с ним, как курица с яйцом, и, ни много ни мало, проучила и прожила на него две-

сти душ. Ну, и выучить, конечно, выучила многому, но проку из того, кажется, вышло мало, потому что молодой человек вряд ли служил где-нибудь и имел ли даже какой-нибудь чин. После смерти матери он жил по столицам, а теперь приехал на житье в свою разоренную усадьбу – на какую-нибудь сотню душ; и вместо того чтобы как-нибудь поустроить имение, только и занимался тем, что ездил по гостям, либо ходил с ружьем да с собакой на охоту. Прекрасное занятие для молодого образованного человека!

Шум в зале возвестил о приезде новых гостей. Хозяин привстал с места. В гостиную вошел Мановский, сопровождаемый женой. Мужчины приветливо и с почтением подавали руку первому.

– Милости просим, дорогой гость, – говорил хозяин, тоже протягивая обе руки Задор-Мановскому. – Как ваше здоровье, Анна Павловна? – прибавил он.

Мановский и жена поздравили предводителя с дорогой именинницей и справились, давно ли от нее получал письма.

– Недавно, очень недавно, – отвечал старик и солгал.

Новоприезжие разошлись; Анна Павловна, поклонившись некоторым дамам, села на отдаленное кресло; Задор-Мановский подошел к мужчинам.

В это время в гостиную вошел Эльчанинов, присло-

нился к колонне и, стараясь принять несколько изысканное положение, вставил стеклышко в глаз и взором наблюдателя начал оглядывать общество. Вдруг глаза его неподвижно остановились на одном предмете; бледное лицо его вспыхнуло.

– Кто эта дама? – спросил он торопливо и не без волнения, схватив за руку проходившего мимо исправника.

– Которая-с?

– На крайнем кресле, в коричневом платье.

– Это жена Задор-Мановского.

– Что ж, она здешняя?

– Нет, он женился там где-то, далеко.

В это время мимо них прошла Клеопатра Николаевна с своей спутницей.

– Ваш идеал приехал, можете адресоваться, – сказала она Эльчанинову. Тот ей ничего не ответил и вряд ли даже слышал ее замечание. Он, не спуская глаз, глядел на Мановскую.

– Как имя этой мадаме Мановской? – спросил он опять исправника.

– Анна Павловна, – отвечал тот.

– Это она, – почти вслух сказал Эльчанинов и быстро пошел в ту сторону, где сидела Мановская.

Исправник с усмешкою посмотрел ему вслед.

– Ну, теперь пошел, – сказал он, подмигнув стояв-

шему возле толстому Уситкову и тоже наблюдавшему эту сцену. – Видно, Мановского еще не видал.

– Да, – отвечал тот, усмехнувшись, – тут насчет этого небезопасно! И не такому жиденькому кости переломают.

Между тем Эльчанинов стоял уже перед Мановской.

– Вы ли это, Анна Павловна? – сказал он, все еще в недоумении, глядя на молодую женщину.

Мановская взглянула на него, и судорожный трепет пробежал по ее лицу. Она хотела что-то ответить, но голос ей изменил.

– Валерьян Александрыч, как вы здесь? – проговорила, наконец, она.

– Я здешний уроженец! Скажите лучше, как вы попали сюда? – сказал Эльчанинов, садясь около нее.

– Я замужем.

– Замужем? За кем? Мне говорили...

– За Мановским.

– Но вы больны, голос ваш слаб, вы не похожи на себя?

Анна Павловна ничего не отвечала.

– Неужели мои пророчества, – продолжал молодой человек, – которые я предсказывал вам в шутку, неужели они сбылись? Неужели вы?..

– Бога ради, не говорите со мною, – прервала ше-

потом молодая женщина, – на нас смотрят, отойдите от меня.

– Я не отойду от вас, покуда вы мне не скажете, что с вами? Отчего эта перемена? Вспомните, вы называли меня когда-то вашим другом! Вы должны быть со мною откровенны!..

– Только не здесь, бога ради, не здесь, – подхватила Анна Павловна.

– Где же?

– Где хотите: в лесу, в поле, только не при людях!.. Отойдите!

– По крайней мере назначьте время и место.

– Я гуляю в поле, близ Лапинской рощи, – сказала шепотом Анна Павловна, – будьте там в пятницу, в четыре часа!.. Отойдите!

Эльчанинов повиновался ей, и первым его делом было – выйти на балкон. Лицо его горело. Несколько минут простоял он, наклонившись над перилами, и, как бы желая освежиться от внутреннего волнения, вдыхал довольно свежий воздух, потом улыбнулся, встряхнул волосами и весело возвратился в гостиную.

– Вам нечего меня опасаться, – сказал он тихо Мановской, проходя мимо ее. – Здесь всем известно, что я влюблен в madame Маурову.

Молодая женщина взглянула на него и, кажется, поняла этот намек.

Эльчанинов подошел к вдове, которая на этот раз была одна и сидела опять в наугольной, задумчиво перебирая концы своего шарфа.

– Как я рад, – сказал он, усаживаясь около нее, – что, наконец, встретил вас без вашей гувернантки.

– Это что значит? – спросила вдова, внимательно посмотрев на молодого человека.

– Это значит, что я могу с вами, наконец, говорить откровенно.

– Право?.. А я не замечала в вас притворства. Напротив, вы слишком откровенны.

– А мой идеал?

– Что ж ваш идеал?

– Я изобрел его, чтобы скрыть настоящий.

– Или вы тогда хитрили или теперь хитрите, – сказала Клеопатра Николаевна, снова внимательно взглянув на молодого человека.

«Она умнее, нежели я полагал», – подумал про себя Эльчанинов.

– Позвольте мне с вами рядом сесть за столом, – сказал он вслух.

– Извольте.

Он поцеловал ее руку.

– Еще одна просьба!

– А именно?

– Чтобы не было около вас вашей спутницы.

– Это почему?

– Я ее терпеть не могу: она сплетница, и я должен буду невольно притворяться.

– За что же вы ее не любите? Вот что значит наружность! Ах, господа, господа мужчины!

– Прошу вас!

– Извольте! Впрочем, помните, это жертва!

– Merci, – сказал Эльчанинов и снова поцеловал руку Клеопатры Николаевны.

– Вы мне скажете ваш идеал, – сказала вдова, не отнимая руки.

– Скажу, – отвечал молодой человек с притворным смущением и сжал ей руку.

Они разошлись.

Через полчаса сели за стол. Эльчанинов был рядом с Клеопатрой Николаевной. Вдова была, говоря без преувеличения, примадонною всех съездов Боярщины. Она была исключительным предметом внимания и любезности со стороны мужчин, хоть сколь-нибудь претендующих еще на любезность. Причина этому, конечно, заключалась в независимости ее положения, в ее живом, развязном характере, а больше всего в кокетстве, к которому она чувствовала чрезмерную склонность. В числе ее поклонников был, между прочим, и Задор-Мановский, суровый и мрачный Задор-Мановский, и надобно сказать, что до сего време-

ни Клеопатра Николаевна предпочитала его прочим: она часто ездила с ним верхом, принимала его к себе во всякое время, а главное, терпеть не могла его жены, с которой она, несмотря на дружеское знакомство с мужем, почти не кланялась.

Судьба посадила Задор-Мановского напротив вдовы.

– Кто этот молодой человек? – спросил он у своего соседа, указывая на Эльчанинова.

– Это сосед его превосходительства, недавно приехал, – отвечал тот.

– Где же он живет?

– В Коровине.

– В Коровине?.. Что же, он служил, что ли, где-нибудь?

– Бог его знает, неизвестно.

В это время Эльчанинов что-то с жаром начал говорить вдове. Она краснела несколько. Мановский стал прислушиваться, но – увь! – Эльчанинов говорил по-французски. Задор начал кусать губы.

– Клеопатра Николаевна! – сказал он, не вытерпев. Ответа не было.

– Клеопатра Николаевна! – повторил еще раз Мановский. Вдова взглянула на него.

– Когда же мы с вами поедem на охоту? – спросил он.

– Я не буду больше ездить на охоту, – отвечала то-ропливо Клеопатра Николаевна. – Ну, продолжайте, бога ради, продолжайте; это очень интересно, – прибавила она, обращаясь к Эльчанинову.

– Почему же вы не хотите ездить? – спросил неотвязчиво Мановский.

– Ах, боже мой, почему? Потому что... не хочу.

– А вы ездите на охоту?.. Странное для дамы удовольствие, – заметил с усмешкой Эльчанинов.

– А почему оно страннее удовольствия – беседовать с вами? – заметил дерзко Мановский.

Эльчанинов посмотрел на своего противника.

– А вам это, видно, очень неприятно? – сказал он опять с усмешкой.

Мановский только взглянул на него своими выпуклыми серыми глазами.

– Неужели? – подхватила с громким смехом вдова. – Это очень лестно. Благодарю вас, m-г Эльчанинов, вы открываете мне глаза.

Эльчанинов многозначительно улыбнулся.

Мановский был совершенно уничтожен: его не только не предпочли, но еще и осмеяли.

Есть люди, в душе которых вы никакой любовью, никаким участием, никакой преданностью с вашей стороны не возбудите чувства дружбы, но с которыми довольно сказать два – три слова наперекор, для того,

чтобы сделать их себе смертельными врагами. Таков был и Задор. Ревнивый по натуре, он тут же заподозрил вдову в двусмысленных отношениях с молодым человеком и дал себе слово – всеми силами мешать их любви. Таким образом, судьба как бы нарочно направила пронцательный взор этого человека совершенно не в ту сторону, куда бы следовало.

– Кто это такой? – спросил Эльчанинов Клеопатру Николаевну, – он, кажется, неравнодушен к вам.

– Не знаю, – отвечала она кокетливо и прибавила: – Это Задор-Мановский.

– Задор-Мановский, – повторил Эльчанинов.

Последнее известие его весьма обеспокоило.

В это время в залу вошел низенький, невзрачный человек, но с огромной, как обыкновенно бывает у карликов, головой. В одежде его видна была страшная борьба опрятности со временем, щегольства с бедностью. На плоском и широком лице его сияло удовольствие. Он быстро проходил залу, едва успевая поклониться некоторым из гостей. Хозяин смотрел, прищурившись, чтобы узнать, кто это был новоприезжий.

– Честь имею, ваше превосходительство, – начал бойко гость, – поздравить с драгоценнейшей именинницей и позвольте узнать, как их здоровье?

– Благодарю, Иван Александрыч, благодарю! Пи-

шет, что здорова, – отвечал с обязательной улыбкой Алексей Михайлыч, – прошу покорно садиться!.. Мамы! Поставь прибор.

– Извините, ваше превосходительство, – продолжал Иван Александрыч, – что не имел времени поутру засвидетельствовать моего поздравления: дядюшка изволили прибыть.

– Граф Юрий Петрович приехал! – почти вскрикнул хозяин.

– Граф приехал, – повторилось почти во всех концах стола.

– Вчерашний день, – начал Иван Александрыч, – в двенадцать часов ночи, совершенно неожиданно. Конечно, он мне писал, да все как-то двусмысленно. Знаете, великие люди все любят загадки загадывать. Дом-то, впрочем, всегда ведь готов. Вдруг сегодня из Каменок ночью верховой... «Что такое, братец?..» Перепугался, знаете, со сна, – «Дядюшка, говорит, его сиятельство приехал и желают вас видеть». Я сейчас отправляюсь. Старик немножко болен с дороги, ну, конечно, обрадовался. Так мы и просидели. Приятное родственное свидание!

– А надолго приехал Юрий Петрович? – спросил хозяин. – Да садитесь около меня, Иван Александрыч!.. Эй, переставьте сюда прибор!

Иван Александрыч сел.

– Надо полагать, что на год, если только не соскучится, – начал он, а потом, склонивши головку немного набок, продолжал: – Сегодня за кофеем уморил меня со смеху старик. – «Тесен, говорит, Ваня, у меня здесь дом». Каменской дом тесен, в тридцать комнат!

– Да зачем же ваш дядюшка приехал так надолго? Видно, в Петербурге уж ненадобен? – спросил Мановский.

Иван Александрыч только усмехнулся.

– Дядюшка, – начал он внушительным тоном, – может жить, где захочет и как захочет.

– Будто? – спросил Задор.

Иван Александрыч точно не слышал этого вопроса.

– Для здоровья, надо полагать, он больше приехал, чтобы здоровье свое поправить, которое точно что потратил от трудов своих, – проговорил он, обращаясь к хозяину.

– Конечно, конечно, – подтвердил тот.

– Враки! – произнес как бы сам с собою, впрочем довольно громко, Мановский.

Известие о приезде графа заняло всех. Во всю остальную часть обеда только и говорили об нем. Граф Юрий Петрович Сапега был совсем большой барин по породе, богатству и своему официальному положению, а по доброте его все почти окружные помещики были или обязаны им, или надеялись быть

обязанными. Сверх того, может ли маленький человек не почувствовать живого интереса к лицу важному. Все себе дали слово: на другой же день явиться к графу для засвидетельствования глубочайшего почтения, и только четыре лица не разделяли общего чувства; это были: Задор-Мановский, который, любя управлять чужими мнениями, не любил их принимать от других; Анна Павловна, не замечавшая и не видевшая ничего, что происходило вокруг нее; потом Эльчанинов, которого в это время занимала какая-то мысль, — и, наконец, вдова, любовавшаяся в молчании задумчивым лицом своего собеседника. Что касается до Ивана Александрыча, то он был просто на небе. Все к нему адресовались с вопросами, все желали говорить с ним. О такой минуте он давно и постоянно мечтал. В околотке он был известен не столько под своим собственным именем и фамилией, сколько под именем графского племянника, хотя родство это было весьма сомнительно, и снискан некоторым вниманием Сапег он собственно был за то, что еще в детстве рос у них в доме с предназначением быть карликом; но так как вырос более, чем следовало, то и был отправлен обратно в свою усадьбу с назначением пожизненной пенсии. Проживая таким образом лет около двадцати в Боярщине, Иван Александрыч как будто не имел личного существования, а был каким-то

телеграфом, который разглашал помещикам все, что делал его дядя в Петербурге или что делается в имении дяди; какой блистательный бал давал его дядя, на котором один ужин стоил сто тысяч, и, наконец, какую к нему самому пламенную любовь питает его дядюшка. – «Да что ж вы не едете в Петербург?» – спрашивали его некоторые из соседей, видя его очень небогатую жизнь, которую он вел в своей деревнюшке.

– А имение-то дяди? – отвечал Иван Александрыч, хотя при имении был особый немец-управитель, который, говорят, даже не пускал и в усадьбу племянника по каким-то личным неудовольствиям. Но возвращаясь к рассказу моему: после обеда Эльчанинов тотчас же отошел от вдовы; ему было досадно на себя за несколько колких слов, которые он, по незнанию, сказал Задор-Мановскому. «Мне бы надобно было с ним познакомиться, сойтись, сделаться частым его гостем, а там и приятелем, а теперь... как теперь поедешь с визитом? Впрочем, нельзя ли как-нибудь еще поправить, – думал он сам с собою, – можно с ним опять заговорить, приласкаться, счесться дальним родством и посмеяться даже над вдовой».

С этим намерением он вошел в гостиную. Первый предмет, представившийся его глазам, был Задор-Мановский с картузом в руках. Он прощался с хозяином, отговариваясь болезнью жены; недалеко от

него стояла Анна Павловна уже в шляпке.

Все надежды рушились... Теперь прошу ожидать, когда удастся встретиться с Мановским где-нибудь в доме. Он посмотрел на Анну Павловну, и ему показалось, что ей тоже не хотелось уезжать. Как она была хороша в эту минуту, и как позавидовал он ее мужу, который поедет вместе с нею вдвоем в коляске, будет ласкать ее, поцелует, тогда как ему нельзя даже проститься с ней; хоть бы еще два слова сказать, хоть бы еще раз условиться в свидании. «Боже мой! К чему эти общественные понятия, которые так стесняют свободу человека!..» Так думал Эльчанинов, и, когда Мановские уехали, ему сделалась страшная скука. Походя без всякой цели из комнаты в комнату, он решил ехать домой. А потому, взявшись за шляпу, простился с хозяином и пошел отыскивать Клеопатру Николаевну.

Вдова сидела в диванной с исправником и еще с некоторыми мужчинами.

– Это что значит? – сказала она, увидев Эльчанинова со шляпою в руках. – Вы едете?

– Я еще поутру говорил вам, что мне после обеда нужно будет ехать, – отвечал он, как бы стараясь оправдаться.

– Полно, так ли? – спросила вдова, устремив пронизательный взор на молодого человека. – Полноте,

не ездите.

- Нужно-с.
- Когда же вы у меня будете?
- Когда прикажете.
- Приезжайте завтра.
- Хорошо.
- На целый день?
- На целый день... Adieu.⁴
- Adieu, ужасный человек.

⁴ Прощайте (франц.).

III

Чтобы объяснить читателю те отношения, в которых находилась Мановская с Эльчаниновым, я должен несколько вернуться назад.

Хорошенький собой и очень умный Валер перебивал, я думаю, во всех пансионах московских. Мать везде находила, что или дурно кушать ему дают, или строго учат.

Лет восемнадцати, наконец, оставшись после смерти ее полным распорядителем самого себя, он решил поступить в тамошний университет с твердым намерением трудиться, работать, заниматься и, наконец, образовать из себя ученого человека, во славу современникам и для блага потомства, намерение, которое имеют почти все студенты в начальные месяцы первого курса. Он купил себе книг, записался во все возможные библиотеки и начал слушать лекции; но все пошло не так, как он ожидал: на лекциях ему была страшная скука; записывать слова профессора он не мог; попробовал читать дома руководства, источники, но это оказалось еще скучнее. А между тем жизнь пахнула уже на него своим обаянием: он ходил в театры, на гулянья, познакомился с четырехкурсными студентами, пропировал с ними целую ночь

в трактире и выучился без ошибки петь «*Gaudeamus igitur*»⁵. Рядом с ним стояла актриса; он познакомился с актрисой и стал с нею декламировать Шекспира. Время между тем шло: Эльчанинов опомнился только перед экзаменом; в три – четыре дня списал он пропущенные лекции и в один месяц с свойственной только студентам быстротой приготовился к экзамену. Его перевели. Этот успех сделал то, что Эльчанинов в продолжение года решительно перестал думать об университете. Жизнь сделалась главной его целью. У него были приятели, были знакомые. Он кутил, танцевал, изъяснялся в любви, играл на домашних театрах и писал в бессонные ночи стихи. Теряя таким образом в отношении образования, Эльчанинов в то же время натирался, что называется, в жизни: он узнал хорошо женщин, или лучше сказать, их слабости, и был с ними смел и даже дерзок. Он умел с первого взгляда разгадывать людей или по крайней мере определить: богат ли человек, или нет, питает ли он к своей личности уважение, или вовсе не дерзает на самолюбие. Бывая в разнородных обществах, Эльчанинов сделался в некоторой степени тонок в обращении с людьми. Он старался подделаться к тем, которые были его выше, и не чужд был давнуть тех, которых считал ниже се-

⁵ «Будем веселиться» (лат.) – начальные слова старинной студенческой песни.

бя. Но хуже всего Эльчанинов, как и большая часть людей, понимал самого себя. Впечатлительный по характеру, энергический и смелый в своих предприятиях, но слабый при исполнении их он стал предполагать в себе сильные страсти, а вследствие их, глубокие страдания.

Один из приятелей Эльчанинова познакомил его с своей теткой, радушной старухой, у которой была внучка, только что выпущенная из Смольного монастыря. Это была пухленькая брюнетка, с розовыми щечками и с быстрыми, как у дикой серны, глазками. Она очень понравилась Эльчанинову. Он начал ласкаться к старухе, более и более стал учащать свои посещения и через месяц сделался уже совершенно домашним человеком. Все шло как нельзя лучше для студента: старушка его полюбила, маленькая брюнетка час от часу к нему привыкала, и вот в один вечер Эльчанинов, оставшись наедине с Верочкой (так звали брюнетку), долго и высокопарно толковал ей о любви, а потом, как бы невольно схвативши ее пухленькую ручку, покрыл ее страстными поцелуями. Верочка заплакала от стыда. Студент утешал ее, умолял любить его и говорил, что если она сейчас же не скажет, что любит его, так он пойдет и застрелится. Верочка испугалась и сказала, что она действительно его любит, что ей без него страшная скука, и в заклю-

чение просила как можно чаще ходить к ним. Эльчанинов был в восторге: он целовал, обнимал тысячу раз свою Лауру⁶ (так называл он Веру), а потом, почти не помня себя, убежал домой. Эта минута была пафосом любви его к Вере. В последующее затем время он уже ничего нового не открывал в своей Лауре: она оставалась такой, какой была в первую минуту, то есть хорошенькой девушкой, которую с удовольствием можно целовать, ласкать и которая сама очень мило ласкалась, но затем больше ничего. Верочка была действительно небогата внутренним содержанием, Эльчанинову начинало становиться скучно у старой немки, и он ходил к ней более уже по привычке. Но вот однажды, это было в воскресенье, он пришел к ним обедать. Верочка выбежала к нему навстречу.

– Валерьян! – сказала она, взявши его за руки, – поздравь меня, Анета приехала. Ах, как нам троим будет весело. – С последними словами Вера потащила студента в гостиную.

– Вот она, – сказала брюнетка, указывая на молодую девушку, сидевшую возле старой немки.

Эльчанинов невольно остановился в смущении, несвязно пробормотал что-то такое старухе и поклонился приятельнице Веры, которая поразила его сво-

⁶ Лаура – имя возлюбленной знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374), воспетой им в сонетах.

ей наружностью. Она была блондинка. Никогда еще Эльчанинов не встречал такой нежной красоты, никогда еще не видал такого кроткого и спокойного взгляда, каким взглянула на него девушка своими карими глазами из-под длинных ресниц. Она была так стройна и воздушна, что показалась Эльчанинову одной из тех пери, которые населяют заоблачный мир, и как бы нарочно была одета в белое газовое платье. Это была Анна Павловна, теперь больная, худая Анна Павловна, но тогда счастливая, не знакомая ни с одним из житейских зол, жившая в кругу людей, которые истинно любили и берегли ее. Анна Павловна вместе с Верой вышла из Смольного монастыря⁷ и теперь только что воротилась из деревни, где почти целый год прожила с отцом своим. Она, видно, искренне любила приятельницу свою, потому что на другой же день по возвращении приехала навестить ее. Обе девушки, по выходе из учебного заведения, далеко были раскинуты общественным положением. Анна Павловна, как дочь одного из значительных людей, стала принадлежать совершенно иному миру, нежели бедная Вера, которая, бывши не более как дочерью полкового лекаря, поселилась у своей бабушки, с тем, чтобы, проскучав лет пять, тоже выйти за какого-нибудь лекаря.

⁷ Смольный монастырь – привилегированное женское учебное заведение в Петербурге – институт «благородных девиц».

Эльчанинов поправился и начал разговаривать со старухой, между тем Вера, усевшись возле приятельницы, начала ей что-то шептать.

– Кто эта девица? – спросил студент тихо у старухи.

– Дочь генерала Кронштейна, – отвечала та. – Очень добрая девушка, как любит мою Верочку, дай ей бог здоровья. Они обе ведь смолянки. Эта-то аристократка, богатая, – прибавила старуха. И слова эти еще более подняли Кронштейн в глазах Эльчанинова. Он целое утро проговорил со старухой и не подходил к девушкам, боясь, чтобы Анна Павловна не заметила его отношений с Верочкой, которых он начинал уже стыдиться. Но не так думала Вера.

После обеда старуха ушла в спальню, а студент остался с девушками.

Он сел поодаль.

– Валерьян, – сказала Вера, – поди сюда! Анета знает все, я ей рассказала.

Эльчанинову легче было бы провалиться сквозь землю; впрочем, он совладел с собой.

– Вера Александровна, – начал он, обращаясь к Анне Павловне, – могла быть с вами откровенна; но я не имею на это никакого права.

Анна Павловна опять взглянула на него из-под длинных ресниц своих.

– Я могу желать только одного, – продолжал Эль-

чанинов, – чтобы вы сами убедились, что я достоин вашего участия. Позвольте мне с вами видеться как можно чаще, бывать перед вами в горькие и отрадные минуты моей жизни.

– Я без вашей просьбы дала себе слово строго наблюдать за вами, – отвечала с легкой улыбкой Анна Павловна.

Таким образом, то, чего боялся Эльчанинов, послужило ему в пользу. Он много рассчитывал на этом дружеском сближении и все остальное время был очень занимателен: он говорил, как говорят обыкновенно студенты, о любви, о дружбе, стараясь всюду выказать благородство чувств и мыслей, и в то же время весьма мало упоминал, по известной ему цели, о своей любви к Вере. Из этой беседы он увидел, что Анна Павловна далеко превосходила свою подругу умом и образованием, несмотря на равенство лет и одинаковость воспитания. Эльчанинов возвратился домой совершенно очарованный своей новой знакомой. План его был таков: сблизившись и подружившись с молодой девушкой, он покажет ей, насколько он выше ее подруги, и вместе с тем даст ей понять, что, при его нравственном развитии, он не может истинно любить такую девушку, какова была Вера, а потом... потом признаться ей самой в любви, но – увы! – расчет его оказался слишком неверен. Правда, он более и более

сближался с Анной Павловной, но в то же время увидел, что она чрезвычайно искренне любит добренькую и пустую Веру, и у него духу даже не доставало хоть бы раз намекнуть ей, что он не любит, а только обманывает ее приятельницу. Он увидел, напротив, что чем более будет обнаруживать любви к Вере, тем выше будет становиться в глазах Анны Павловны, и он принялся за последнее. Благодаря усердному чтению романов, а частью и собственным опытом, Эльчанинов успел утончить свои чувства, знал любовь в малейших ее подробностях и все это высказывал перед молодыми девушками, из которых Вера часто дремала при этом, но совершенно другое было с Анной Павловной: она заслушивалась Эльчанинова до опьянения. Он видел это и постоянно старался держать себя на высоком строю. Впрочем, судьба скоро изменила ход этой маленькой драмы и надолго растолкнула эти три лица, жившие почти в продолжение года в таких тесных между собою отношениях. Вера занемогла. Бабушка, Анна Павловна и Эльчанинов не отходили от больной, но все было тщетно: через две недели она умерла. Эльчанинов обнаружил сильную горесть; Анна Павловна утешала его, хотя сама гораздо более нуждалась в этом. Почти со слезами умолял он ее не прекращать с ним дружбы и позволить ему видаться с ней. Анна Павловна согласилась;

она еще раз два приезжала к старой немке, которая почти ослепла, плача день и ночь по своей внучке. Эльчанинов был, конечно, тут же, в оба раза молодая девушка показалась ему несколько странной: она как будто бы остерегалась его, боялась за самое себя и беспрестанно говорила о Вере. «Она любит меня», – подумал Эльчанинов, и надежда снова зародилась в душе его. Дня через два он пошел к старой немке в надежде встретить там Анну Павловну. Старуха была одна и, по обыкновению, плакала.

– У меня еще горе, – сказала она, – Анна Павловна вчера приезжала ко мне прощаться: она уехала навсегда из Москвы с батюшкой. Вам она велела отдать письмецо.

В глазах потемнело у студента, руки и ноги задрожали. Он проворно схватил записку и проворно пробежал ее строки, как бы стараясь разувериться в том, что он слышал. Письмо было следующее: «Прощайте, добрый и благородный человек! Я с вами расстаюсь и расстаюсь, может быть, навсегда; но где бы я ни была, что бы со мною ни было, я сохраню о вас воспоминание вместе с воспоминанием о моей доброй подруге. Да наградит вас бог счастьем, вы его достойны по благородству ваших чувств. Не забудьте меня, я вас очень любила и буду любить всегда. Adieu!»

Эльчанинов почти обеспамятел: он со слезами на

глазах начал целовать письмо, а потом, не простояв со старухой, выбежал из дому, в который шел за несколько минут с такими богатыми надеждами, и целую почти ночь бродил по улицам. Москва ему опротивела. Первым его намерением было ехать вслед за Анной Павловной, но где она будет жить и как с нею будет видаться? С отцом он не знаком, тайных свиданий никакого права не имел требовать! И этих мыслей было достаточно, чтобы он отменил свое намерение и остался в Москве; целую неделю после того никуда не выходил из квартиры, не ел, не спал, одним словом, страдал добросовестно, а потом, как бы для рассеяния, пустился во все тяжкие студенческой жизни.

Приближающийся экзамен заставил его, наконец, опомниться, и он принялся готовиться. Необходимость заниматься лекциями, а не собственными своими чувствами, очень ослабила горечь впечатления, которое произвел на него отъезд Анны Павловны. Окончивши курс, он совершенно уж не тосковал, и в нем только осталось бледное воспоминание благородного женского существа, которое рано или поздно должно было улететь в родные небеса, и на тему эту принимался несколько раз писать стихи, а между тем носил в душе более живую и совершенно новую для него мысль: ему надобно было начать службу, и он ее начал, но, как бедняк и без протекции,

начал ее слишком неблистательно. Его определили куда-то сверхштатным писцом, обещаясь, впрочем, впоследствии, за прилежание и когда узнает канцелярский порядок, сделать столоначальником, – но не таков был Эльчанинов. В две недели служба опротивела ему насмерть. И мог ли он, никогда постоянно не трудившийся, убивши первую молодость на интриги с женщинами, на пирушки с друзьями, на увлечения искусствами, мог ли он, говорю я, с его подвижным характером, привыкнувши бежать за первым ощущением, сдружиться с монотонной обязанностью службы и равнодушно выдерживать канцелярские сидения, где еще беспрестанно оскорбляли его самолюбие, безбожно перемарывая сочиненные им бумаги. Эльчанинов начал падать духом; жизнь ему стала казаться несносной. Друзей, этих беззаботных, но умных юношей, около него уже не было: все они или разбрелись, или начали, как выражался он, подлеть в жизни; волочиться ему не хотелось или, лучше сказать, не попадалось на глаза женщины, в выборе которых он сделался строже. Сначала он думал выйти в отставку и жить так в Москве; но расстроенное состояние не давало ему на то никакой возможности. Ехать в деревню и жениться... на этой мысли Эльчанинов остановился; она казалась ему лучшей и единственной: по крайней мере он будет иметь цель, а ес-

ли достигнет ее, так войдет в совершенно новые обязанности. С таким намерением вышел он в отставку и приехал в деревню, дав себе слово никого из соседей не знакомить с своим формуляром и непременно влюбить в себя какую-нибудь богатую невесту. Клеопатра Николаевна была первая женщина, которую он заметил; но она была вдова, ей было тридцать лет, и, кроме того, несколько провинциальные манеры и легкость победы, которую заметил он в ней, значительно уронили ее в его глазах. Возвести ее на степень своей жены он считал недостойной и волочился за нею от нечего делать, любя иногда подразнить ее, что было весьма нетрудно, потому что вдова заметно им интересовалась и была немного вспыльчива. Появление Мановской показалось Эльчанинову каким-то чудом, совершившимся для того, чтобы вознаградить его за все страдания и несчастья, которых он себе очень много насчитывал. Мысль, что она живет от него в таком близком соседстве, обрадовала его, а так быстро назначенное тайное свидание подало ему полную надежду достигнуть взаимности. В одну минуту забыл он свое намерение жениться. Любить эту женщину, заставить ее полюбить себя, вот на что он решился теперь. У них будет интрига, будут тайные свидания, будут сплетни общества, над которыми они станут смеяться и с помощью Клеопатры

Николаевны сбивать всех с толку, – вот о чем он мечтал. Небольшая размолвка с Задор-Мановским стала казаться ему еще в пользу. «Это лучше, – думал он, – мы будем видаться тайно, а при тайных свиданиях скорее можно достигнуть цели». Возвратившись домой, он совершенно погрузился в мечтания о своей любви и будущих наслаждениях. Он воображал, как эта женщина после долгой борьбы уступит, наконец, его желаниям и предастся ему в полное обладание, а далее затем ее самоотвержение: вот он делается болен, она обманывает мужа, приезжает к нему, просиживает целые ночи у его изголовья... Мечты его и на этом не остановились; ему представлялось, что у них уже есть прекрасный ребенок, к которому впоследствии очень кстати можно будет проговорить стихи Лермонтова:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.

О! Если б знало ты, как я тебя люблю, и пр.⁸

Этого ребенка надобно будет воспитывать. Он будет его руководителем, наставником. Мечтая и размышляя таким образом, Эльчанинов ни разу не поду-

⁸ С отрадой тайною и тайным содроганьем... – цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Ребенку».

мал, отчего это так изменилась Анна Павловна и не повредит ли он ей еще более своей любовью? Болезненный и печальный вид Мановской, поразивший его при первой встрече, совершенно изгладился из его воображения, когда он перестал ее видеть. Он мечтал и думал только о себе и о своих будущих наслаждениях.

IV

Но что было после этого свидания с Анной Павловной, о чем думала и мечтала она? Чтобы ответить на эти вопросы, я снова должен вернуться назад.

Анна Павловна действительно была некоторым образом достойна той высоты, на которую возносил ее Эльчанинов. Немка по отцу, она была девушка умненькая, но более того – добрая, чувствительная и страшно мечтательная. В сердце своем она носила самую теплую веру в провидение. Она любила своих подруг, своих наставниц, страстно любила своего отца, и, конечно, если бы судьба послала ей доброго мужа, она сделалась бы доброй женой и нежной матерью, и вся бы жизнь ее протекла в выполнении этого чувства любви, как бы единственной нравственной силы, которая дана была ей с избытком от природы. В Эльчанинова она влюбилась с самого первого свидания, хотя совершенно была уверена, что чувствует к нему только дружбу. Смерть Веры как бы раскрыла ей самое себя. Она сделалась осторожна в обращении с Эльчаниновым, потому что стыдилась его. Расставшись с ним навсегда и ехавши в Петербург, она всю дорогу обливалась слезами, думая об нем. Ни театры, ни вечера не развлекали ее. Почти с восторгом

поехала она с отцом в деревню, рассчитывая мечтать об Эльчанинове целые дни, никем и ничем не развлекаемая, но и тут неудача: с первых же дней к ним нахлынули офицеры близстоящего полка и стали за ней ухаживать. Они ей были противны. Ей могли нравиться только студенты, потому что Эльчанинов был студент. Новый удар окончательно убил ее счастье. Старый генерал объявил дочери о предложении полкового командира Мановского. Анна Павловна сначала и не поняла хорошенько, что ей предстоит, потом плакала, страдала, молилась, – отец убеждал, просил и, наконец, настаивал. Результат был тот, что бедная девушка, как новая Татьяна, полная самоотвержения, чтоб угодить отцу, любя одного, отдала руку другому, впрочем, обрекая себя вперед на полное повиновение и верность своему мужу; и действительно, с первых же дней она начала оказывать ему покорность и возможную внимательность, но не понял и не оценил ничего Мановский. Это был неглупый, но необразованный человек. Упрямый и злой по природе, он был в то же время честолюбив и жаден. Служба польстила первой из его страстей и возвела его на степень полковника и полкового командира; чин генерала был у него почти под рукой; но ему этого было еще мало: он хотел богатства и женитьбой хотел окончательно устроить свою карьеру. Дочь генерала Крон-

штейна казалась ему выгодной партией: все очень хорошо знали богатые поместья, которыми владел старик. Мановский сделал предложение, не будучи еще сам уверен в успехе своих исканий, но сверх ожидания отец согласился, а вскоре затем и невеста дала слово. Свадьбу назначили через две недели. В продолжение этого времени Анна Павловна так изменилась и так похудела, что когда она стояла под венцом, многие ее не узнавали. Мановский еще ни слова не говорил тестю о приданом и рассчитывал на будущее время, как вдруг неожиданный случай расстроил все его планы: имение Кронштейна, как лопнувшего откупщика, было конфисковано в казну, у него осталось только шестьдесят заложенных душ. При этом известии с Задор-Мановским сделалось что-то вроде удара; но он скрыл это от всех и выздоровел и только с каждым днем начал хуже и хуже обращаться с женой. Никакой покорностью, никаким вниманием не могла она угодить ему. Он непрестанно сердился, кричал и бранил ее. Анна Павловна, никогда не любившая мужа, начала к нему чувствовать страх и отвращение. Несмотря на все ее старание уничтожить или по крайней мере скрыть это страшное чувство, Мановский заметил, и это был последний удар, который навсегда уничтожил их семейное спокойствие. Мановский вынужденным нашелся выйти в отставку и уехать в свои

Могилки. Живши в полку, посреди молодых офицеров, он боялся измены жены, а кроме того, увезя несчастную жертву от родных, он получил более возможности выместить на ней свою ошибку и нелюбовь к себе. Сцены, которые я вначале описал, повторялись каждодневно. Бедная женщина, не видя ничего в будущем, отторгнутая в настоящем от всего, что ей было дорого, сосредоточилась на прошедшем и с помощью мечтательного характера составила из него целый мирок. Эльчанинов был на первом плане, он был ее брат, друг, покровитель. В своем уединении, посреди хозяйственных забот, даже в минуты брани и укоров мужа, она думала и мечтала об Эльчанинове. Она шептала ему страстные речи, припоминала его голос, его наружность, пробегала в памяти эти долгие беседы, на которых он так много и так прекрасно говорил о дружбе, о любви. В бессонные ночи, которые проводила она постоянно, ей казалось, что ее мечтательный друг стоял близ нее. Она жаловалась ему на судьбу свою, рассказывала свои страдания, просила защиты и участия, и в то же время какое-то тайное предчувствие говорило ей, что она рано или поздно встретит этого человека, — и вдруг это предчувствие сбылось в самом деле. Я уж, конечно, не в состоянии выразить того, что было с Анной Павловной в первые минуты этого свидания. Ей сделалось весело, страш-

но и стыдно; тоска сдавила ей сердце: ей хотелось плакать, у ней едва достало памяти, чтоб попросить его отойти и прекратить разговор, который мог заставить обнаружить тайну перед обществом, перед ним самим; но он не отходил, он желал говорить, вызывал ее на откровенность. Что было делать? Не помня себя, она назначила ему свидание и во все остальное время как бы лишилась сознания: во всем теле ее был лихорадочный трепет, лицо горело, в глазах было темно, грудь тяжело дышала; но и в этом состоянии она живо чувствовала присутствие милого человека: не глядя на него, она знала, был ли он в комнате, или нет; не слышавши, она слышала его голос и, как сомнамбула, кажется, чувствовала каждое его движение. По приезде домой мысли ее стали мало-помалу приходить в порядок. Она вспомнила о назначенном свидании и решила не ходить на него, решила никуда не выезжать, чтоб только не встретиться с Эльчаниновым: видеться с этим человеком – чего она так давно, так страстно желала – видеться с ним теперь ей было страшно! Она боялась за самое себя, боялась, что не в состоянии будет скрыть своей тайной любви. Но, боже мой! ей хотелось еще раз видеть его, посмотреть, не изменился ли он, ей хотелось рассказать ему о своем положении, попросить у него совета. Неужели она должна была отказать себе и в этом?

Нет, это выше ее сил. «Я пойду, я буду говорить с ним только о вере... он, верно, любит еще Веру; ему приятно будет говорить со мною об ней, он помнит еще и меня... Он непохож на других людей... Я пойду!..»

V

Село Каменки графа Сапеги, сделавшееся в настоящее время главнейшим пунктом внимания окружающих дворян, превосходило все прочие усадьбы красивым местоположением и богатством строений. Огромный каменный дом стоял на самом возвышенном месте. По крутому скату горы, которая начинала склоняться от переднего его фаса, разбит был в виде четвероугольника английский сад, с своими подстриженными деревьями и песчаными дорожками. Весь сад был обхвачен чугунной решеткой. Прочие усадебные строения и службы были тоже каменные. Село это с незапамятных времен находилось во владении Сапег. Несмотря на то, что владельцы никогда не жили в нем, оно постоянно поддерживалось и улучшалось, что было, я думаю, не столько по желанию самих графов, сколько делом немцев-управителей, присылаемых из Петербурга. Настоящий владелец, граф Юрий Петрович Сапега, всего раза три в жизнь свою приезжал в Каменку и проживал в ней обыкновенно лето.

Часов в шесть пополудни, это было в пятницу, граф, принявши от всех соседей визиты, сам никуда еще не выезжал, – и теперь, отобедавши, полулежал на широком канаве в своем кабинете.

В углу, около курильницы, на маленьком табурете, в почтительном положении сидел Иван Александрыч. Сапега, как видно, был в самом приятном, послеобеденном расположении духа. Это был лет шестидесяти мужчина, с несколько измятым лицом, впрочем, с орлиным носом и со вздернутым кверху подбородком, с прямыми редкими и поседевшими волосами; руки его были хороши, но женоподобны; движения медленны, хотя в то же время серые пронизательные глаза, покрывавшиеся светлой влагой, показывали, что страсти еще не совершенно оставили графа и что он не был совсем старик.

– Что, Иван, все уж у меня перебивали здешние помещики? – спросил Сапега, даже не взглянув на того, к кому относились эти слова.

– Все, ваше сиятельство, решительно все, – отвечал, вытянувшись, Иван Александрыч, – или нет... позвольте, не все... Задор-Мановский не был.

– Задор-Мановский? Кто же это Задор-Мановский и почему он не был?

– Я полагаю, ваше сиятельство, – отвечал Иван Александрыч протяжно, придумывая средство оправдать Мановского, которого в эту минуту считал уже погибшим. – Я полагаю, что у него или жена умирает, или сам он при смерти болен.

– Жена умирает! – повторил граф. – А он женат?

– Женат, ваше сиятельство.

– На хорошенькой?

– Нет-с, не очень счастлив партией.

– А на ком он женат? – спросил граф.

– На... на... дай бог память, она не здешняя, на...

на... на немке какой-то, на Кронштейн.

– На дочери генерала Кронштейна? – спросил стремительно граф.

– Именно, ваше сиятельство, должно быть, что генерала Кронштейна.

– Анета Кронштейн! – говорил граф, как бы припоминая. Глаза его заблестали. – Помню, – продолжал он, – стройная блондинка, хорошенькая, даже очень хорошенькая. А что, Иван, нравится тебе она?

– Кто, ваше сиятельство?

– Ну, жена этого Задора, что ли?

– Задор-Мановского? Худа очень, ваше сиятельство.

– Да ты знаток, Иван, в женской красоте? – спросил граф.

– Ха-ха-ха, ваше сиятельство! Как вам сказать, конечно-с, больших красавиц не случилось видеть.

– А разве ты не видал Анеты Кронштейн?

– То есть Задор-Мановской-с, ваше сиятельство? Как-же-с, сколько раз обедал, ночевал у них.

– Как же ты говоришь, что не видал красавиц? Вот

тебе красавица!

– Красавица, ваше сиятельство? – спросил удивленный Иван Александрыч.

– Трудное, брат, дело понимать женскую красоту; ни ты, да и многие, не понимают ее.

– Конечно, ваше сиятельство, мы люди необразованные.

– Тут не образование, мой милый, а собственное, внутреннее чутье, – возразил граф. – Видал ли ты, – продолжал он, прищуриваясь, – этих женщин с тонкой нежной кожей, подернутой легким розовым отливом, и у которых до того доведена округлость частей, что каждый член почти незаметно переходит в другой?

Иван Александрыч слушал, покраснев и потупившись.

– А замечал ли ты, – продолжал Сапега одушевляясь, – у них эти маленькие уши, сквозь которые как будто бы просвечивает, или эти длинные и как бы без костей пальцы? – Сапега остановился.

Иван Александрыч решительно не знал, что ему отвечать.

– Или эта эластичность тела, – продолжал граф, как бы более сам с собою. – Это не опухлость и не надутость жира; напротив: это полнота мускулов! И, наконец, это влияние свежей, благоухающей женской теплоты? Что, Иван, темна вода во облацех? – заключил

Сапега, обратившись к Ивану Александрычу.

– Вы, ваше сиятельство, так говорите, что... – начал было тот.

– Что – что?

– Ничего, ваше сиятельство, я говорю, что вы уж очень хорошо говорите.

– Словами не передашь всех тонкостей! – произнес граф, вздохнув, и замолчал.

– Вот, если осмелюсь доложить, – начал Иван Александрыч, ободренный вниманием дяди, – здесь есть еще красавица.

– Красавица?

– Да, ваше сиятельство, прелесть женщина, только ух какая!

– Какая же?

– Кокетка, ваше сиятельство, ужасная.

– Девушка?

– Вдова, ваше сиятельство.

– Вдова? – произнес граф. – Чем же она красавица?

– Да уж, этак, женщина высокая, белая-с, – начал Иван Александрыч, – глаза карие... нет, позвольте... голубые, зубы тоже белые.

– Купчиха!.. Мерзость какая-нибудь, должно быть! Расскажи лучше, нет ли других? – перебил Сапега.

– Других, ваше сиятельство, лучше этой нет.

– Дрянь же, брат, видно, у вас женщины.

– Известное дело, ваше сиятельство, не в Петербурге!

– Нынче и в Петербурге ничего нет порядочного, – возразил граф, – или толстая, или больная!

– Последние, видно, времена приходят, ваше сиятельство. Народ уж заметно очень мельчает.

– Послушай, Иван, – перебил Сапега, – отчего это у меня не был этот Мановский?

– Болен, должно быть, ваше сиятельство.

– Кто он такой?

– Помещик-с.

– Как бы заставить его приехать ко мне?

– Заставить, ваше сиятельство? Заставить-то трудно: очень упрям...

– Упрям? – сказал граф, подумав. – Стало быть, он не был у меня не потому, что болен, а потому, что не хочет.

Иван Александрыч, пойманный во лжи, побледнел.

– Богат он? – прибавил граф.

– Богат, ваше сиятельство, триста душ да денег куча! Вряд ли не будет на следующую баллотировку губернским.

– Чин его?

– Полковник-с.

– Завтра я поеду к нему, – сказал граф, вставая.

– К Задор-Мановскому, ваше сиятельство? – спро-

сил Иван Александрыч, как бы не веря ушам своим.

– Да, – отвечал отрывисто граф, – ты теперь ступай в их усадьбу и как можно аккуратней узнай: будут ли дома муж и жена? Теперь прощай, я спать хочу!

Граф лег на диван и повернулся к стене, Иван Александрыч на цыпочках вышел из кабинета.

– Иван! – крикнул граф.

Племянник снова появился в дверях.

– Вели к восьми часам приготовить мне карету: я еду к предводителю, а сам сегодня же исполни, что я говорил.

– Будьте покойны, ваше сиятельство, – отвечал Иван Александрыч и вышел.

– Приготовить карету его сиятельству к восьми часам, – сказал он, проходя важно по официантской.

Несколько слуг посмотрели ему вслед с усмешкой.

– Вишь, какой командир! – сказал один из них.

– Видно, граф дал синенькую на бедность, так и куражится, чучело гороховое! – подхватил другой.

VI

В ту самую минуту, как Иван Александрыч вышел с поручением от графа, по небольшой тропинке, идущей с большой дороги к казенной Лапинской роще, верхом на серой заводской лошади пробирался Эльчанинов, завернувшись в широкий черный плащ. Он ехал на тайное свидание с Анной Павловной. Лошадь шла шагом. Герой мой придумывал, как начать ему объяснение в любви: сказать ли, что прежде любил ее, признаться ли ей, что Вера была одним предлогом для того только, чтобы сблизиться с нею?.. Но она знала, что он Веру любил, еще не выдавши ее. Гораздо лучше сказать, что теперь она осталась одна для него в целом мире, что он только ее одну может любить; а что она к нему равнодушна, в этом нет сомнения: он заметил это еще в Москве, и к чему бы, в самом деле, назначать свидание; она теперь дама и, как видно, не любит мужа и несчастлива с ним, а в этом положении женщины очень склонны к любви. Ему только надобно быть решительным. С такими мыслями подъехал он к роще, привязал лошадь к дереву и пошел пешком в ту сторону, которая прилежала к могилковскому полю.

Глубокое молчание царствовало в лесу, только шум

его шагов да по временам взмах поднявшеюся из-под куста тетерева нарушал тишину. Огромные сосны, поросшие мохом, часто заслоняли ему дорогу своими длинными ветвями, так что он должен был или нагибаться, или отводить руками упругие сучья. С приближением в середину лес становился чаще и темнее. Под ногами у него хрустели беспрестанно сухие сучья, которые покрывали землю целым пластом. Кроме того, ему часто приходилось перелезать через толстые колоды упавших сухих деревьев. Преодоление этих небольших препятствий несколько отвлекало моего героя от главного предмета его мыслей; вместе с физическим утомлением уменьшалась в нем и решительность. Мысли его приняли печальное и несколько боязливое направление. «Что, если мы разойдемся», – подумал он и посмотрел вдаль. Перед ним расстилалось широкое желтеющее поле, вдали были видны Могилки. «Так здесь-то живет она, – подумал он, глядя на высокий дом, выходящий верхним этажом из-за стенной ограды, которою обнесена была усадьба. – Где-то ее комната, у которого сидит она окна? И где теперь она?» Небольшой шум листьев перервал его размышления. Он обернулся назад: перед ним стояла Анна Павловна, в белом платье и соломенной шляпке. Эльчанинов, ни слова не говоря, бросился к ней и начал целовать ее руку.

– Сядемте, – проговорила Анна Павловна, указывая на сухое дерево. Голос ее дрожал. Видно было, что она делала над собой усилие. – Я хочу с вами поговорить, – продолжала она, – опросить вас, не изменились ли вы? Любите ли вы еще бедную Веру?

Этого вопроса Эльчанинов никак не ожидал.

– Я... Вера?.. – пробормотал он и далее ничего не мог придумать.

Анна Павловна, с своей стороны, тоже, казалось, не знала, о чем ей говорить и что начать.

– Вы ее еще любите, вы не забыли ее? – начала, наконец, она. – Вы не забыли и меня?

– Нет, я не забыл вас, я не мог вас забыть, – подхватил Эльчанинов и схватил себя за голову.

Молодые люди замолчали на некоторое время.

– Но, боже мой, как вы переменялись! – произнес он, всплеснув руками и всматриваясь в лицо Анны Павловны. – Вы или больны, или несчастливы!

– Я несчастлива! – отвечала она.

– Мужем? Так?..

– Да. Он не любит и не уважает меня. Я беспрестанно должна выслушивать упреки, что я бедна, что его обманом женили на мне.

Эльчанинов сделал движение.

– Он не позволяет мне, – продолжала Анна Павловна, – читать, запретил мне музыку. При всем моем ста-

рании угодить ему он ничем не бывает доволен. Он бранит меня.

Эльчанинов встал и начал ходить.

– Я способен убить этого человека! Он с первого раза показался мне ненавистен, – вскричал он задыхающимся голосом и в эту минуту действительно забыл свою любовь, забыл самого себя. Он видел только несчастную жертву, которую надобно было спасти.

– Нет, добрый друг, – возразила Анна Павловна, – убить его нельзя, но вы посоветуйте, что я должна делать... Я думала ехать к батюшке, но это его ужасно огорчит; я думала бежать, скрыться где-нибудь в монастыре...

– Но отчего вам не разойтись просто с ним? – спросил Эльчанинов, несколько пришедши в себя. – Отчего вам не жить врозь?

– Мне нечем жить: я бедна!

– Но ваш батюшка?

– Батюшка мне не дал ничего, потому что все наше имение конфисковано.

– Вы не должны жить с мужем, – начал Эльчанинов решительным тоном. – Уезжайте от него на этих же днях, сегодня, завтра, если хотите... У меня есть небольшое состояние, и с этой минуты оно принадлежит вам.

Слезы показались на глазах Анны Павловны. Она

вся вспыхнула.

– Вы меня очень любите? – невольно проговорила она, протягивая ему руку.

Эльчанинов на этот вопрос мог или не отвечать, или открыться во всем.

– Вы удостоиваете меня вашей дружбой, – начал он не без волнения, – вы почтили меня доверием; возьмите все это назад: я не стою того.

Мановская робко взглянула на него.

– Я не могу быть нашим другом, я вас люблю, – произнес Эльчанинов.

Силы совершенно оставили бедную женщину. Она не могла долее притворяться, не могла долее выдерживать заученной роли и зарыдала. Потом, как бы обеспамятев, пристально взглянула на Эльчанинова и схватила его за руку.

– Правду ли вы говорите, не обманываете ли вы меня? Поклянись мне в том, что вы сказали.

– Клянусь богом! – вскричал Эльчанинов.

– Хорошо, – продолжала Мановская, – любите меня!.. Я сама вас давно люблю! Но теперь прощайте: отпустите меня, я не могу дольше оставаться.

Эльчанинов обезумел от восторга.

– Человек ты или ангел! – вскричал он, обхватив за талию Анну Павловну и целуя ее в лицо. – Я тебя не пущу, ты моя, хоть бы целый мир тебя отнимал у меня.

– Пустите меня! Я слаба, пощадите меня!

– Но когда я увижу тебя еще? Я с ума сойду, если это будет долго!

– Хорошо, я буду здесь.

– Но когда же?

– В воскресенье.

Раздавшийся в это время невдалеке голос заставил их оглянуться. К ним подходил Иван Александрыч. Эльчанинов, как можно было судить по его движению, хотел бежать, но уж было поздно.

– Наконец-то я вас нашел, Анна Павловна, – начал Иван Александрыч. – Бегал-бегал, обегал все поле, – дело очень важное. Приезжаю, спрашиваю: «Дома господы?» – «Одна, говорят, только барыня, да и та в поле». – «В каком?» – «В оржаном». – Валяй в оржаное. Наше вам почтение, Валерьян Александрыч! Вы как здесь?

– Так же, как и вы, – отвечал Эльчанинов, – приехал, – говорят, Анна Павловна в поле, я и пошел в поле.

– Вот как-с, а я ведь думал, что вы «незнакомы с Михайлом Егорычем. Матушка Анна Павловна, первой всего: я ведь к вам с важным поручением. Где супруг-то?

– Он уехал в город, – отвечала Анна Павловна, едва приходя в себя.

– Пошлите за ним, бога ради, нарочного. Завтра вам надобно быть дома обоим. Его сиятельство придет к вам. Он говорит, что знает вас, и ужасно как хвалит.

– Мы будем дома, – отвечала Анна Павловна. – Пойдемте! Доведите меня, Иван Александрыч.

– А мне позвольте проститься, – сказал Эльчанинов, – я пройду прямо.

– Прощайте.

Эльчанинов ушел в лес; Иван Александрыч подал руку Анне Павловне, и они пошли.

– Отчего это Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу? – спросил будто с простодушным любопытством Иван Александрыч.

– Верно, не хочет.

– А отчего ж он не хочет?

– Он незнаком с мужем; я его прежде знала.

– Прекрасный он молодой человек, умный, образованный, – заметил Иван Александрыч.

Анна Павловна ничего не отвечала, и они молча вошли в усадьбу.

Стало уже смеркаться, когда Иван Александрыч выехал на своих беговых дрожках из Могилки.

– Какова соколена! – начал он рассуждать вслух. – Тихая ведь, кажется, такая; поди ты, узнай бабу. А молодец-то... ловкой малый! Рассказывать или нет? По-

дождю пока! Кажется, его сиятельство тут того... Слабый старик по этой части.

На этих словах он почувствовал, что его кто-то схватил за воротник шинели. Иван Александрыч обернулся. Это был верхом Эльчанинов.

– Ба! Вы все еще едете, – сказал он, – не тяните, пожалуйста, шинели: сукно тонкое, как раз лопнет.

– Остановите вашу лошадь, мне нужно с вами поговорить, – сказал мрачно Эльчанинов.

Иван Александрыч повиновался.

– Вы никому не должны говорить, что сегодня видели меня в Могилках, – продолжал Эльчанинов, колотя рукой по седлу, – в противном случае я вас убью.

– Да мне-то что за дело? – возразил Иван Александрыч. – Сам бывал в таких переделках.

– Нет, вы должны поклясться.

– Ей-богу, не скажу! Я не из таких: не люблю из избы выносить сору.

– Хорошо, помните же! – проговорил Эльчанинов и, поворотивши свою лошадь, поскакал в галоп.

«Вот оно, какую передрягу наделал, – думал Иван Александрыч, – делать нечего, побожился. Охо-хо-хо! Сам, бывало, в полку жиду в ноги кланялся, чтобы не сказывал! Подсмотрел, проклятый Иуда, как на чердаке целовался. Заехать было к Уситковым, очень просили сказать, если граф к кому-нибудь поедет!» – за-

ключил он и поехал рысцой.

VII

На другой день, часу в двенадцатом, Анна Павловна, совсем забывшая об известии, сообщенном Иваном Александрычем, сидела в гостиной. Она как будто бы была повеселее, как будто бы все изменилось в ее глазах. Эта мрачная и темная гостиная не казалась ей так скучна и печальна; ей думалось, что легче, наконец, будет жить на свете, потому что теперь у ней есть человек, который поучаствует в ней, который разделит с ней ее горе. Муж, общество, да что ей за дело до них! У нее есть друг, который заменит ей все, защитит ее от всех. Он сам говорил это: разве не доказал он своего самоотвержения, когда предложил ей свое состояние для того только, чтобы облегчить ее участь.

Приезд мужа прервал эти мысли. Михайло Егорыч вошел в гостиную и сухо поздоровался с женой.

– Здоровы ли вы? – спросил он.

– Здорова.

– Велите дать мне есть.

Анна Павловна вышла. Мановский осторожно вынул какие-то бумаги из кармана и запер в стоявшую под диваном железную шкатулку.

В это время на дворе раздался шум подъехавшего

экипажа. Мановский взглянул в окно: к крыльцу подъезжала запряженная четверней карета.

– Кто это такой? – сказал Мановский, не узнавая гостя по экипажу, и вышел на половину залы.

Через несколько минут вошел граф. Мановский, не двигаясь с места, глядел в глаза новоприбывшему.

– Честь имею рекомендоваться: я граф Сапега, – начал тот, подходя к хозяину, – сосед ваш, и приехал, чтобы начать знакомство с вами, которое тем более интересно для меня, что супруга ваша уже знакома мне. Она дочь моего приятеля.

– Очень вам благодарен, ваше сиятельство, за сделанную мне честь, – вежливо отвечал Мановский, – и прошу извинения, что первый не представился вам, но это единственно потому, что меня не было дома: я только что сейчас вернулся. Прошу пожаловать, – продолжал он, показывая графу с почтением на дверь в гостиную. – Жена сейчас выйдет: ей очень приятно будет встретить старого знакомого. Просите Анну Павловну, – прибавил он стоявшему у дверей лакею.

Гость и хозяин вошли в гостиную. Мановский, очень хорошо знавший, что граф ни к кому еще в губернии первый не приезжал, с первых же слов понял, что тот приехал не для него, а для жены. О сердечных слабостях графа давно уже ходили слухи в Боярщине. Ревность и оскорбленное самолюбие забушевали в

душе Мановского. Впрочем, очень хорошо убежденный, что Анна Павловна, любя другого, могла изменить ему, он в то же время знал, что никогда ничего не добьется от нее Сапега, и потому решился всеми средствами способствовать намерениям графа, а потом одурачить его и насколько только возможно. Извинившись еще раз, что не представлялся первый, он вышел из гостиной, как бы по хозяйственным распоряжениям, и прошел в комнату жены.

– Граф Сапега приехал, друг вашего отца, будьте с ним любезнее, он человек богатый, – сказал он Анне Павловне. Та пошла. Приезд графа ее несколько обрадовал. Она помнила, что отец часто говорил о добром графе, которого он пользовался некоторой дружбой и который даже сам бывал у них в доме.

– Здравствуйте, Анна Павловна, – сказал Сапега, вставая и подходя к ее руке. – Помните ли вы меня?

– Помню, граф, – отвечала Анна Павловна, – мне нельзя забыть вас. Вас так любит мой батюшка.

Граф и хозяйка уселись на диван.

– Я так был удивлен и обрадован, – начал Сапега, – что вы здесь в нашем соседстве, что сейчас же поспешил приехать, чтобы только скорее увидеть мою милую и добрую знакомую, надеясь, что она лично сама заплатит мне визит.

Анна Павловна отвечала ему улыбкой.

Между ними завязался обычный при встрече старых знакомых разговор. Граф расспрашивал ее об отце, давно ли она вышла замуж, давно ли переселилась в эти места.

– Как вы худы и болезненны, Анна Павловна, – сказал, наконец, он, всматриваясь ей в лицо. – Не скучаете ли вы в деревне? Имеете ли вы книги? Есть ли, наконец, у вас рояль? Я помню, вы премило играл «, и покойная ваша матушка подозревала в вас решительно музыкальные дарования, – это я очень хорошо помню.

– Рояля у меня нет еще покуда, – отвечала Анна Павловна, сконфузившись.

– Как это не грех, как это не стыдно! Что ж смотрит ваш супруг?

В это время вошел Мановский.

– Вы мало заботитесь, Михайло Егорыч, об удовольствии вашей супруги, – продолжал граф, обращаясь к нему. – Отчего вы не выпишете для них рояль?

– Всего вдруг нельзя, ваше сиятельство, – отвечал Мановский, – и то вот, как видите, живем в пустых стенах и с необитой почти мебелью.

– Слишком ничтожное оправдание, – возразил Сапега. – Мы с вами, Анна Павловна, сделаем вот какой заговор против вашего мужа: у меня в доме есть довольно порядочный рояль, ездите ко мне, старику, как

можно чаще, занимайтесь музыкой, а мужа оставляйте дома. Соскучится об вас, да и купит вам рояль. Согласны?

– Благодарю вас, граф, – отвечала Анна Павловна.

– Она и без того должна за честь, которую вы ей сделали, быть у вашего сиятельства, – сказал Мановский, – и так как я нисколько не принимаю ваше посещение на свой счет, то она должна ехать одна, а я уж буду иметь честь представиться после.

– Благодарю, – сказал граф, протягивая Мановскому руку. – Вы очень оригинально хотите отметить мне за любовь к вашей супруге.

– Она сама вам отметит за эту любовь, – отвечал с усмешкой Мановский.

– Чем же?

– Тем, что наскучит вам.

– Анна Павловна не наскучит мне! – сказал граф сладким голосом, целуя руку хозяйки.

В зале раздался шум: это были новые гости. В каждый приезд графа между помещиками Боярщины заводился странный обычай. Они приезжали обыкновенно вслед за ним во все дома, которым он делал честь своим посещением, частью для того, чтобы более и более сближаться с знатным туземцем, а частью и для наслаждения его беседой. Новоприбывшие были: толстый Уситков с женой, той самой бары-

ней в блондовом чепце, которую мы видели у предводителя и которая приняла теперь намерение всюду преследовать графа в видах помещения своего седьмого сынишки в корпус. Их сопровождала молодая чета Симановских, недавно женившаяся по страсти. Муж был высокий и необыкновенно худой отставной уланский корнет, m-me Симановская, несмотря на молодость лет, уже замечательно обнаруживающая в себе практические способности, в силу которых тоже решившаяся искать в графе для определения мужа в какую-нибудь доходную службу, без которой он будто бы ужасно скучает. При входе мужчины отдали почтительный поклон Сапеге, а дамы, присевши ему, поместились на диван с хозяйкой.

Всем им граф слегка кивнул головой, и на лице его заметно отразилось неудовольствие: ему было досадно, что Анна Павловна, кроме него, должна будет заниматься с прочими гостями.

Мановский, все это, кажется, заметивший, сейчас же подошел с разговором к дамам, а мужчины, не осмеливаясь говорить с графом, расселись по углам. Таким образом, Сапега опять заговорил с Анной Павловной. Он рассказывал ей о Петербурге, припомнил с нею старых знакомых, описывал успехи в свете ее сверстниц. Так время прошло до обеда. За столом граф поместился возле хозяйки. Мановский продол-

жал занимать прочих гостей.

– Анна Павловна, верно, прежде была знакома с графом? Она, говорят, ему крестница? – спросила его Уситкова.

– Крестница, – отвечал Мановский.

– Михайло Егорыч, – сказал граф, обращаясь к хозяину, – когда же вы доставите мне удовольствие видеть вас и Анну Павловну у себя в доме?

– Я сегодня ночью должен буду ехать в город, ваше сиятельство, – отвечал Мановский. – Что касается до жены, то она, я полагаю, завтра же должна отплатить вам визит, чтобы тем хоть несколько извинить невольную мою против вас невежливость.

– Bravo! – вскричал граф. – А вы что скажете, Анна Павловна?

Мановская побледнела. Она очень хорошо знала, что слово полагаю на языке ее мужа значит – она придет. Но завтра! Завтра был день, назначенный ею для свидания с Эльчаниновым.

– Позвольте мне, граф, приехать к вам в понедельник, – сказала она, – я чувствую себя не так здоровою.

– Зачем же откладывать? – возразил Мановский, не любивший исполнять ни малейшего желания жены. – Приличие заставляет, кажется, поторопиться.

– Но, может быть, Анна Павловна действительно дурно себя чувствует, – сказал граф отеческим голо-

сом, в душе радовавшийся поспешности мужа.

– Она постоянно не так здорова, потому ей все равно. Она приедет завтра, – отвечал Мановский.

Тоска сдавила сердце Анны Павловны. Что ей было делать, на что решиться! Сначала она думала притвориться больной, но в таком случае нельзя будет выйти в поле, тем более, если муж не уедет. Эльчанинов будет ее дожидаться, он подумает, что она не хотела сдержать обещания. Когда она опять с ним увидится и как ему дать знать? Оставалось одно средство: идти и оставить на месте свидания записку, в которой уведомить Эльчанинова о случившемся и назначить ему прийти туда в понедельник. На этом намерении она несколько успокоилась и снова начала говорить с графом.

Обед кончился. Граф не отходил от хозяйки и не давал ей решительно заниматься с дамами.

– О чем это говорит граф с Анной Павловной? – шепнула, обращаясь к мужу, Уситкова, немного тупая на ухо.

– Не знаю, – отвечал тот.

– Николай Николаич, Николай Николаич, – отнеслась Уситкова к Симановскому, смотревшемуся в зеркало.

Симановский подошел.

– Вы отсюда к нам?

– Жена к вам проедет, а мне надобно в Новинское на панихиду.

– К кому, батюшка? – произнесла с испугом Уситкова.

– Бахулов помер.

– Опекун Клеопатры Николаевны? Скажите! Царство небесное! Истинно добрый был человек. Что-то теперь Клеопатра Николаевна? Как она была им довольна! Кого-то ей теперь назначат, потому что, надобно сказать, она порядочно порасстроила дочкино состояние: для нее это очень важно, кого ей назначат.

– Да вряд ли не здешнего.

– Кого? Михайла Егоровича?

Симановский подтвердительно кивнул головой.

– Посмотрите, посмотрите, – продолжала Уситкова, показывая глазами на графа, который целовал руку у Анны Павловны.

– Да-с, – отвечал Симановский и взглянул на жену, которая сидела в заметно щекотливом положении около Анны Павловны.

Вскоре после чая граф уехал, а вслед за ним поднялись и прочие гости, глубоко обиженные невниманием Сапеги и предпочтением, которое оказал он Анне Павловне.

– Завтра, часу в двенадцатом, вы поедете к графу, – сказал Мановский, оставшись один с женой, – а я по-

сле.

– Хорошо, – отвечала та, – а я теперь, Михайло Егорович, пойду гулять, – прибавила она с невольной боязнью.

– Ступайте, – отвечал Мановский.

Анна Павловна почти вбежала в свою комнату и написала к Эльчанинову записку: «Простите меня, что я не могла исполнить обещания. Мой муж посылает меня к графу Сапеге, который был сегодня у нас. Вы знаете, могу ли я ему не повиноваться? Не огорчайтесь, добрый друг, этой неудачей: мы будем с вами видеться часто, очень часто. Приходите в понедельник на это место, я буду непременно. Одна только смерть может остановить меня. До свиданья».

Спрятавши эту записку за перчатку, она вышла и через несколько минут была на том месте, где в первый раз встретилась с Эльчаниновым. Записка была положена в трещину дерева таким образом, что часть ее была видна.

Воротившись домой, она не видала уж мужа. Он что-то писал в гостиной.

VIII

В воскресенье, часу в третьем пополудни, Эльчанинов снова ехал на своей серой лошади, погруженный в тихую задумчивость. Он предвкушал, так сказать, наслаждения любви, которые готовила для него эта женщина, предмет его страстных мечтаний. Подъехавши к роще, он уже не пошел на этот раз пешком, а объехал ее кругом и, остановясь недалеко от назначенного места, посмотрел вокруг себя: по-прежнему перед ним расстилалось широкое поле, вдали были видны Могилки, которые на этот раз показались ему еще мрачнее, еще печальнее. Небо покрыто было серыми тучами, которые, как бы перегоняя одна другую, гигантскими массами плыли от севера. Эльчанинов слез с лошади и, привязав ее, подошел к сухому дереву, на котором сидел с Анной Павловной. Еще раз окинул он глазами окрестность и сел; при этом движении его записка юркнула в довольно глубокую трещину, и, таким образом, не сбылись надежды Анны Павловны – известие не дошло по назначению. Прошло полчаса, беспокойство и скука начали овладевать Эльчаниновым: напрасно смотрел он на Могилки, напрасно вставал на дерево, садился на лошадь верхом, даже вставал на седло ногами, чтоб та-

ким образом окинуть взором большее пространство, – никого не было видно. Беспокойство и скука все более и более возрастали. «Не больна ли она? – подумал он. – Прoshлый раз она могла простудиться, захворать и теперь, может быть, умирает». При этой мысли он решил идти в усадьбу: но если встретится с мужем? «Что же такое! – подумал Эльчанинов. – Я могу сказать, что меня сшибла лошадь и убежала, мог же я ехать невдалеке». С таким намерением он выбрался на большую дорогу, слез с лошади, оборвал поводья, свернул немного набок седло и ударил ее несколько раз арапником. Лошадь понеслась марш-марш по дороге. Эльчанинов, вымарав себе, для большего вероятия, в грязи лицо, платье и руки, отправился в Могилки. Первая представилась ему толстая баба с зашученными рукавами, вешавшая на забор белье.

– Эй, любезная, – сказал Эльчанинов, подходя к ней, – нет ли у вас кого-нибудь поймать мою лошадь?

Баба посмотрела на него с любопытством и с удивлением.

– Лошадь!.. А кое место ваша лошадь? – спросила она.

– Должно быть, в здешнем поле. Она меня сшибла и убежала.

– Ишь ты!.. А вы чьи такие?

– Я из Коровина.

– Так, знаем. Барин, что ли?

– Барин, моя милая. Кто бы мне лошадь поймал?

– Ой, батюшка, кого посылать-то, разве ребятишек... больших-то нет дома. Кучера с барями уехали, а другие на работе.

– С барями уехали? – спросил Эльчанинов. – А куда ваши баря уехали?

– А бог их знает, куда уехали. Неизвестно. Барыня, говорят, в Каменки, а барин неизвестно.

– Куда в Каменки?

– А вон в село Каменки, к енералу. Он вчера-то был здесь, так, слышь, барыня и поехала к нему, в карете, шестериком, такая нарядная.

Эльчанинов ничего не мог понять. Он догадался, впрочем, что Анна Павловна уехала к графу Сапеге, о котором он слышал от многих. Но зачем уехала, и как одна, и в тот именно день, когда назначено было свидание? Ему сделалось не на шутку грустно и досадно.

– Ребятишек послать, что ли? – спросила баба, видя, что Эльчанинов стоял, задумавшись.

– Пошли, любезная, – сказал он.

Баба влезла на забор.

– Ванька... Федька... подьте сюда!.. – закричала она. – Вот из Коровина барина лошадь сшибла, так пригоньте ее.

На этот зов за ворота выбежали три мальчишки в

пестрядинных рубашках, с грязными руками и ногами. Они все трое стали в недоумении: им нужно было снова растолковать, в чем дело.

– Да кое место лошадь-то? – спросил старший из них, – поле-то велико.

– Да, поди, чай, у воротец к Коровину, – отвечала догадливая баба.

– Так туда, что ли, бежать?

– Вестимо, что туда; а может, что и в болоте.

– Пойдемте, – сказал старший, и все вприскокку пустились по дороге.

Эльчанинов стоял в раздумье.

– Барыня-то есть у вас? – спросила словоохотливая баба.

– Нет, я не женат, – отвечал Эльчанинов. – А что, у вас хороша барыня?

– Хороша, добрая такая, только барин-то ее не больно любит; у него есть другая, еще и не одна, пожалуй; да и тем житье не больно хорошо: колотит часто.

Послышался конский топот. Это были мальчишки, которые, усевшись все трое на лошадь Эльчанинова, гнали ее во весь опор.

– Вот и пригнали, – проговорила баба.

– Спасибо, любезные, – сказал Эльчанинов, садясь на лошадь и оделяя мальчишек по пятаку. – Вот и те-

бе, – прибавил он, давая гривенник женщине.

Все поклонились ему.

Эльчанинов скорой рысью поехал обратно; но, миновав могилковское поле, остановился. Слезы чуть не брызнули из его глаз, так ему было тошно.

«Вот женщины, – подумал он, – вот любовь их! Забыть обещание, забыть мою нетерпеливую любовь, свою любовь, – забыть все и уехать в гости! Но зачем она поехала к графу и почему одна, без мужа? Может быть, у графа бал? Конечно, бал, а чем женщина не жертвует для бала? Но как бы узнать, что такое у графа сегодня? Заеду к предводителю: если бал, он должен быть там же».

Принявши такое намерение, Эльчанинов пришпорил лошадь и поворотил на дорогу к предводительской усадьбе. Через полчаса езды он въехал на красный двор и отдал свою лошадь попавшемуся навстречу кучеру.

– Дома Алексей Михайлыч? – спросил он.

– У себя-с, – отвечал тот.

Эльчанинов быстро вбежал на лестницу, сбросил на пол плащ и вошел в гостинную.

Предводитель сидел в вольтеровских креслах и с величайшим старанием сдирал с персика кожицу, которых несколько десятков лежало в серебряной корзинке, стоявшей на круглом столе. Напротив него, на

диване, сидела Уситкова, по-прежнему в блондовом чепце; толстый муж ее стоял несколько сбоку и тоже ел персик; на одном из кресел сидел исправник с сигарой в зубах, и, наконец, вдали от прочих помещался, в довольно почтительном положении, на стуле, молодой человек, с открытым, хотя несколько грубоватым и загорелым лицом, в синем из толстого сукна сюртуке; на ногах у него были огромные, прошивные, подбитые на подошве гвоздями сапоги, которые как-то странно было видеть на паркетном полу.

Увидя входившего Эльчанинова, предводитель несколько привстал.

– Здравствуйте, Валерьян Александрыч! – сказал он. – Но, господи, что с вами, вы все в грязи?

Эльчанинов, начавший уже раскланиваться, тут только вспомнил, что был весь испачкан.

– Меня сейчас сшибла лошадь, – отвечал он.

– Скажите, пожалуйста! Ах, молодые, молодые люди, – произнес предводитель. – Долго ли до беды. Не ушиблись ли вы, однако?

– Никак нет-с. Я только, как видите, перепачкался, да и про то забыл, – отвечал Эльчанинов и вышел.

– Ну, матушка Татьяна Григорьевна, – продолжал хозяин, обращаясь к Уситковой, – вы начали, кажется, что-то рассказывать?

– Странные, просто странные вещи, – начала та,

пожимая плечами, – сидим мы третьего дня с Карпом Федорычем за ужином, вдруг является Иван Александрыч: захлопотался, говорит, позвольте отдохнуть, сейчас ездил в Могилки с поручением от графа.

На этих словах Эльчанинов вернулся и начал вслушиваться.

– Что такое за поручение? – продолжала Уситкова. – А поручение, говорит, сказать Михайлу Егорычу, чтоб он завтрашний день был дома, потому что граф хочет завтра к нему приехать. «Как, говорит Карп Федорыч, да являлся ли сам Михайло Егорыч к графу?» – «Нет, говорит, да уж его сиятельству по доброте его души так угодно, потому что Анна Павловна ему крестница». Ну, мы, – так я и Карп Федорыч, ну, может быть, и крестница.

– Конечно, что ж тут удивительного? – сказал предводитель. – Очень возможно, что и крестница.

– Ну, да-с, мы и ничего, только я и говорю: «Съездим-ка, говорю, и мы, Карп Федорыч, завтра в Могилки; я же Анны Павловны давно не видала». – «Хорошо», говорит. На другой день поутру к нам приехали Симановские. Мы им говорим, что едем. «Ах, говорят, это и прекрасно, и мы с вами съездим». Поехали. Граф уж тут, и, ах, Алексей Михайлыч! вы представить себе не можете, какие сцены мы видели, и я одному только не могу надивиться, каким образом Михайло

Егорыч, человек не глупый бы...

– Что ж такое? Что такое? – спросил с любопытством предводитель.

– Это интересно, – отнесся исправник к Эльчанинову, который, казалось, весь превратился в слух.

– Вспомнить не могу, – продолжала Уситкова, – ну, мы вошли, поздоровались и начали было говорить, но ни граф, ни хозяйка ни на кого никакого внимания не обращают и, как голуби, воркуют между собою, и только уж бледный Михайло Егорыч (ему, видно, и совестно) суется, как угорелый, то к тому, то к другому, «Вот тебе и смиренница», – подумала я.

– Не может, кажется, быть, – нерешительно возразил предводитель.

– Ах, Алексей Михайлыч, не знаю, может или не может быть, – возразила в свою очередь барыня, – но вы только выслушайте: мало того, что целый день говорили, глазки делали друг другу, целовались; мало этого: условились при всех, что она сегодня приедет к нему одна, и поехала; мы встретили ее. Положим, что крестница, но все-таки – она молодая женщина, а он человек холостой; у него, я думаю, и горничных в доме нет... ну, ей поправить что-нибудь надобно, башмак, чулок, кто ей это сделает, – лакеи?

– Конечно, – подтвердил предводитель и потом шепотом прибавил. – Что граф к этому склонен, то...

– Без всякого сомнения, – подхватила рассказчица. – Господи! До чего нынче доводят себя нынешние женщины. Ну, добро бы молодой человек – влюбилась бы, а то старик: просто разврат, чтоб подарил что-нибудь.

При последних словах Эльчанинов встал.

– Что с вами, Валерьян Александрыч? – спросил предводитель.

– Ничего-с, это, кажется, последствия падения, – проговорил он и вышел.

– Савелий, – сказал предводитель, обращаясь к молодому человеку, тоже, кажется, принимавшему большое участие в их разговоре, – поди к Валерьяну Александрычу, посмотри, что там с ним, да спроси, не хочет ли он прилечь в моем кабинете.

Молодой человек встал и вышел в залу.

– Напрасно вы рассказываете при этих дворянишках, – сказал исправник, показывая глазами на ушедшего молодого человека, – как раз перенесут графу.

– Ай, батюшки, что я наделала! – вскричала в испуге Уситкова.

– Ты всегда так неосторожна на язык, – заметил ей муж, махнув рукой.

– Нет, Савелий не такой, я его знаю, – сказал предводитель.

– Вы, пожалуйста, скажите ему, чтобы он не гово-

рил, – сказала Уситкова почти умоляющим голосом.

– Не беспокойтесь, Савелий не болтун.

Молодой человек, которого называли одним только полуименем Савелий, был такой же дворянин, как Эльчанинов, как предводитель, как даже сам граф; но у него было только несколько десятин земли и выстроенный на той земле маленький деревянный флигель. Он с трудом умел читать, нигде не служил, но, несмотря на бедность, на отсутствие всякого образования, он был в высшей степени честный, добрый и умный малый. Он никогда и никому не жаловался на свою участь и никогда не позволял себе, подобно другим бедным дворянам, просить помощи у богатых. Он неусыпно пахал, с помощью одного крепостного мужика, свою землю и, таким образом, имел кусок хлеба. Кроме того, он очень был искусен в разных ремеслах: собственными руками выстроил себе мельницу, делал телеги, починивал стенные часы и переплетал, наконец, книги. Ни отца, ни матери не было у него с двенадцатилетнего возраста. Жил он в одной усадьбе со вдовой.

Эльчанинов между тем стоял на задней галерее дома, прислонившись к деревянной колонне, и вовсе не обратил внимания на Савелия, когда тот подошел к нему и внимательно посмотрел на него.

Героя моего мучила в настоящую минуту ревность,

и он ревновал Анну Павловну к графу. Раздосадованный и обманутый ожиданием, он поверил всему. Если бы Анна Павловна поехала к графу не в этот день, в который назначено было свидание, то, может быть, он еще усомнился бы в истине слов Уситковой; но она забыла его, забыла свое слово и уехала. Это явно, что если она не любит графа, то все-таки ей приятно его искание; что граф за ней ухаживал, Эльчанинов не имел ни малейшего сомнения в том. «Теперь прошу верить в нравственную высоту женщин, – думал он, – если она, казавшаяся ему столь чистой, столь прекрасной, унизила себя до благосклонности к старому развратнику и предпочла его человеку, который любит ее со всею искренностью, который, мало этого, обожает ее, – забыть все прошедшее и увлечься вниманием Сапеги, который только может ее позорить в глазах совести и людей; бояться со мною переговорить два слова и потом бесстыдно ехать одной к новому обожателю. О женщины! Ничтожество вам имя!⁹ – проговорил Эльчанинов мысленно, – все вы равны: не знаю, почему я предпочел это худенькое созданище, например, перед вдовою. Если уж входить в сношения с женщиной, так уж, конечно, лучше со свободной – меньше труда, а то игра не стоит свеч. Хорошо, Анна

⁹ О женщины! Ничтожество вам имя! – цитата из трагедии В.Шекспира «Гамлет».

Павловна, мы поквитаемся. Вы поехали любезничать к графу, а я поеду ко вдове». На последней мысли застал его Савелий.

– Алексей Михайлыч приказали мне сказать вам, не хотите ли вы прилечь в его кабинете, – проговорил он.

– Нет-с, благодарю, я сейчас еду, – отвечал сухо Эльчанинов и пошел в гостиную.

– Прощайте, Алексей Михайлыч, – сказал он, берясь за шляпу.

– Куда это вы? Отдохните лучше.

– Благодарю покорно, мне теперь лучше, а воздух меня еще больше освежит.

Он поклонился гостям, вышел и через несколько минут был уж на дороге в усадьбу Ярцово, где жила вдова. Лошадь шла шагом. Несмотря на старание Эльчанинова придать мыслям своим более ветренности и беспечности, ему было грустно. Он ехал ко вдове, потому что был ожесточен против Анны Павловны. Он ей хотел за неверность отплатить тою же монетой. Раздавшийся сзади лошадиный топот заставил, наконец, его обернуться. Его нагонял Савелий, ехавший тоже верхом на маленькой крестьянской лошаденке.

– Как вы тихо едете, – сказал он, кланяясь с доброю улыбкой Эльчанинову.

– Мне некуда торопиться, – отвечал тот рассеянно.

– А куда вы, смею спросить, едете? – спросил Са-

велий, которому хотелось, видно, завести разговор.

– В Ярцово, – отвечал Эльчанинов.

– И я туда же; позвольте мне ехать вместе с вами.

– Сделайте милость, – отвечал Эльчанинов.

– Вы уж меня, я думаю, не помните, Валерьян Александрыч, – сказал Савелий, – я с вами игрывал и гащивал у вас в Коровине.

– Теперь припоминаю, – отвечал Эльчанинов, вглядываясь в своего спутника и действительно узнавая в нем сына одного бедного дворянина, который часто ездил к ним в усадьбу и привозил с собою мальчика, почти ему ровесника.

– Где ваш батюшка? – спросил он.

– Отец мой умер.

– И вы теперь одни?

– Один, – отвечал Савелий. – Вы много переменялись, Валерьян Александрыч! Я вас не узнал было, – прибавил он.

– Не мудрено, – произнес Эльчанинов со вздохом, – переменяешься, поживши на свете, – прибавил он.

– Да вы много ли еще нажили; разве горе какое особенное у вас есть, а то что бы, кажись... – возразил Савелий.

– Горе? – повторил Эльчанинов. – Гора нет, а так, скучаю!

– Отчего же вы скучаете?

– От нечего делать.

Савелий улыбнулся.

– Вот как, – проговорил он, – нам работа руки намозолила; а есть на свете люди, которым скучно оттого, что делать нечего.

– И очень много, – подхватил Эльчанинов, – большая часть людей несчастны оттого, что не знают, что им делать. Из них же первый – аз есмь, – заключил он и зевнул.

– Вам, я думаю, надобно служить, – заметил Савелий.

– Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно¹⁰, – проговорил с усмешкой Эльчанинов.

– Ну, женитесь.

– Жениться? На ком?

– Я не знаю; а думаю, за вас пойдет хорошая невеста.

– Сыщите.

– Я не сват, – сказал с улыбкой Савелий. – Сыщите сами.

– Легко сказать. Сами вы, например, отчего не женитесь?

Савелий при этом вопросе покраснел.

– Какой я жених? За меня девушка, у которой есть

¹⁰ Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно... – искаженные слова Чацкого из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

кусок хлеба, не пойдет.

– А вы бедны?

– Три души у меня-с, из них одна моя собственная.

– Чем же вы живете?

– Да хлебопашеством больше-с.

– И сами пашете землю?

– Пашу-с.

– Это ужасно! – воскликнул Эльчанинов, – дворянин по рождению...

Молодые люди на некоторое время замолчали.

– Любили ли вы когда-нибудь в жизни? – спросил вдруг Эльчанинов, у которого поступок Анны Павловны не выходил из головы и которому уж начинал нравиться его новый знакомый.

– Любил ли я женщин? – спросил Савелий. – Нет еще.

– И не любите.

– Почему же?

– Потому что они этого не стоят. Слышали ли вы у предводителя, что говорили про Мановскую? Это еще лучшая из всех.

– Это неправда, что про нее говорили!

– Вы ее знаете?

– Как же-с: соседское дело, бываю у них, видал ее; а вы ее знаете?

– Я еще ее в Москве знал. Она недурна.

– Да-с, и очень добрая и не гордая, – сказал Савелий.

Эльчанинову пришло в голову сделать Савелию поручение к Анне Павловне, но он боялся.

– А когда вы будете опять у них? – спросил он.

– Не знаю, как случится. А вы ездите к ним?

– Нет, мне не правится ее муж.

– Я поклонюсь ей от вас, коли угодно, – сказал Савелий, как бы угадывая намерение своего спутника.

– Ах, сделайте милость, – сказал Эльчанинов, обрадованный этим вызовом, – и скажите ей, что в Москве она лучше держала свое обещание.

– А разве она не сдержала какого-нибудь обещания?

– Да, пустяки, конечно: обещалась у предводителя танцевать со мною кадрили и уехала.

– Ее, может быть, муж увез.

– Очень может быть. Скажете?

– Извольте.

– Только с глазу на глаз.

– Это для чего-с?

– Потому что этот господин муж может подумать бог знает что.

– Так я лучше ничего не буду говорить, – сказал, подумавши, Савелий.

– Нет, нет, бога ради, скажите, – проговорил Эльча-

нинов, испуганный мыслью, что не догадывается ли Савелий.

– А вам очень хочется? – спросил тот.

– Очень...

– Да тут ничего такого нет?

– Решительно ничего.

– Хорошо, скажу-с.

Разговаривая таким образом, молодые люди подъехали к Ярцову.

– Прощайте! – сказал Савелий.

– Доброй ночи, – проговорил Эльчанинов, протягивая к нему руку, – приезжайте ко мне, мы старые знакомые.

– Хорошо-с, – отвечал тот и поворотил лошадь к своему флигелю, а Эльчанинов подъехал к крыльцу дома Клеопатры Николаевны.

При входе в гостиную он увидел колоссальную фигуру Задор-Мановского, который в широком суконном сюртуке сидел, развалившись в креслах; невдалеке от него на диване сидела хозяйка. По расстроенному виду и беспокойству в беспечном, по обыкновению, лице Клеопатры Николаевны нетрудно было догадаться, что она имела неприятный для нее разговор с своим собеседником: глаза ее были заплаканы. Задор-Мановский, видно, имел необыкновенную способность всех женщин заставлять плакать.

При появлении Эльчанинова хозяйка издала восклицание.

– Боже мой! Monsieur Эльчанинов! – сказала она. – Так-то вы исполняете ваше обещание, прекрасно!

– Извините меня, – начал Эльчанинов, не кланяясь Задор-Мановскому, который в свою очередь не сделал ни малейшего движения. – Я не мог приехать, потому что был болен. Но, кажется, и вы чем-то расстроены?

– Ах, у меня горе, Валерьян Александрыч: мой опекун помер.

– Опекун? Зачем у вас опекун?

– Опекун над именем моей дочери; вы не знаете, с какими это сопряжено хлопотами. Нужно иметь другого; вот Михайло Егорыч, по своей доброте, принимает уж на себя эту трудную обязанность.

– Напротив, я полагаю, приятную, – возразил Эльчанинов.

– Может быть, это вам так кажется; для меня ни то, ни другое... Я назначен опекою, – проговорил Задор-Мановский.

– Что ж тут для вас, Клеопатра Николаевна, за хлопоты? – сказал Эльчанинов. – Все равно, кто бы ни был.

Вдова вздохнула.

– Чем вы были больны? – спросила она, помолчав.

– Я был более расстроен, – отвечал Эльчанинов.

– Нельзя ли узнать, чем?

– Я полагаю, вы знаете.

Эльчанинов нарочно стал говорить намеками, чтобы досадить Мановскому, которого он считал за обожателя вдовы.

– Нет, я не знаю, – сказала вдова.

– Ну, так я вам скажу.

– Когда же?

– Когда будем вдвоем.

Задор-Мановский повернулся в креслах.

– Позвольте мне остаться у вас ночевать, – сказал Эльчанинов, – я боюсь волков ночью ехать домой.

– Даже прошу вас.

– Это не предосудительно по здешним понятиям?

– Нисколько... А вы, Михайло Егорыч?

– Ночую-с, – отвечал тот лаконически.

Разговор прекратился на несколько минут. Веселая и беспечная Клеопатра Николаевна была решительно не в духе. Задор-Мановский сидел, потупя голову. Эльчанинов придумывал средства, чем бы разбесить своего соперника: об Анне Павловне... Увы!.. она не приходила ему в голову, и в Задор-Мановском он уже видел в эту минуту не мужа ее, а искателя вдовы.

– Чем же вы занимались в это время? – спросила Клеопатра Николаевна.

– Думал, – отвечал Эльчанинов.

– О чем?

– О том, что наши северные женщины любят как-то холодно и расчетливо. Они никогда, под влиянием страсти, не принесут ни одной жертвы, если только тысячи обстоятельств не натолкнут их на то.

– Потому что северные женщины знают, как мало ценят их жертвы.

– Да потому жертвы мало и ценятся, что они приходят не от страсти, а от случая.

– Я вас не понимаю.

– Извольте, объясню подробнее, – отвечал Эльчанинов. – Положим, что вы полюбили бы человека; принесли бы вы ему жертву, не пройдя этой обычной колеи вздохов, страданий, объяснений и тому подобного, а просто, непосредственно отдались бы ему в полное обладание?

– Но надобно знать этого человека, – сказала вдова, несколько покрасневши.

– Вы его знаете, как человека, а не знаете только... простите за резкость выражения... не знаете, как любовника.

Задор-Мановский, наблюдавший молчание, при этих словах посмотрел на вдову. Она потупилась и ничего не отвечала. Эльчанинову показалось, что она боится или по крайней мере остерегается Мановско-

го, и он с упорством стал продолжать разговор в том же тоне.

– Что ж вы на это скажете? – повторил он снова.

– Какой вы странный, – начала Клеопатра Николаевна, – надобно знать, какой человек и какие жертвы. К тому же я, ей-богу, не могу судить, потому что никогда не бывала в подобном положении.

«Она отыгрывается», – подумал Эльчанинов.

– Жертвы обыкновенные, – начал он, – например, решиться на тайное свидание, и пусть это будет сопряжено с опасностью общественной огласки, потому что всегда и везде есть мерзавцы, которые подсматривают.

– Я не знаю, – отвечала вдова, – всего вероятнее, что не решилась бы.

– Не угодно ли вам, Клеопатра Николаевна, поверить со мною описи, так как я завтра уеду чем свет, – сказал, вставая, Мановский и вынул из кармана бумаги.

– Извольте, – отвечала Клеопатра Николаевна. – Извините меня, Валерьян Александрыч, – прибавила она, обращаясь ласково к Эльчанинову, – я должна, по милости моих проклятых дел, уделить несколько минут Михайлу Егорычу. – Они оба вышли.

Эльчанинов чуть не лопнул от досады и удивления.

«Что это значит? – подумал он. – Кажется, сегодня

все женщины решились предпочесть мне других: что она будет там с ним делать?» Ему стало досадно и грустно, и он так же страдал от ревности к вдове, как за несколько минут страдал, ревнуя Анну Павловну.

Через полчаса вдова и Мановский возвратились. Клеопатра Николаевна была в окончательно расстроенном состоянии духа и молча села на диван. Мановский спокойно поместился на прежнем месте.

Эльчанинов, не могший подавить в себе досады, не говорил ни слова. На столовых часах пробило двенадцать. Вошел слуга и доложил, что ужин готов. Хозяйка и гости вышли в залу и сели за стол.

Эльчанинов решился наговорить колкостей Клеопатре Николаевне.

– Отчего вы, Клеопатра Николаевна, не выходите замуж? – спросил он.

– Женихов нет, – отвечала та.

– Помилуйте, – возразил Эльчанинов, – мало ли есть любезных, милых, красивых и здоровых помещиков!

– Вот, например, сам господин Эльчанинов, – подхватил Мановский.

– Я не считаю себя достойным этой чести; вот, например, вы, когда овдовеете, – это другое дело.

– Типун бы вам на язык, у меня жена еще не умирает, – сказал Мановский.

– Потому что вы, видно, бережете ее здоровье; это, впрочем, не в тоне русских бар, – заметил Эльчанинов.

– Да, из боязни, чтоб, овдовев, не перебить у вас Клеопатры Николаевны.

– Господа! – сказала она. – Вы, стараясь кольнуть друг друга, колете меня.

– Что ж делать, – отвечал Эльчанинов, – мы не можем при вас и об вас говорить с господином Мановским без колкостей; в этом виноваты вы.

– Не знаю, как вы, а я с вами говорю просто, – проговорил Мановский.

– Прекратите, бога ради, господа, этот неприятный для меня разговор, – сказала Клеопатра Николаевна.

– А мне кажется, он должен приятно щекотать ваше самолюбие. Вам принадлежат нравственно все, а вы – никому! – возразил, с ударением на последние слова, Эльчанинов.

Вдова не на шутку обиделась; но в это время кончился ужин.

– Покойной ночи, господа, – сказала она, вставая из-за стола. – Я прошу вас переночевать вместе, в кабинете моего покойного мужа.

Эльчанинов очень хорошо заметил, что при этих словах Мановский нахмурился. Оба они подошли к руке хозяйки.

– Вы ужасный человек; я на вас сердита, – сказала она шепотом Эльчанинову.

– Что для вас значит этот человек? – спросил он тихо.

– Многое!..

Вдова ушла.

Два гостя, оставшись наедине, ни слова не говорили между собою и молча вошли в назначенный для них кабинет. Задор-Мановский тотчас разделся и лег на свою постель. Эльчанинову не хотелось еще спать, и он, сев, в раздумье стал смотреть на своего товарища, который, вытянувшись во весь свой гигантский рост, лежал, зажмурив глаза, и тяжело дышал. Грубое лицо его, лежавшее на тонкой наволочке подушки и освещенное слабым светом одной свечи, казалось еще грубее. Огромная красная рука, с напряженными жилами, поддерживала голову, другая была свешена. Он показался Эльчанинову страшен и гадок. «Так это-то морскому чудовищу, – подумал он, – принадлежит нежная и прекрасная Анна Павловна. Когда я, мужчина, не могу без отвращения смотреть на него, что же должна чувствовать она!» Ему хотелось убить Задор-Мановского. «Зачем это она поехала к графу? Видно, женщина при всех несчастиях останется женщиной. Когда и как я ее увижу? Но отчего же мне не приехать к ним? С мужем я уже знаком».

Мановский повернулся.

– А что, вы скоро свечу погасите? – проговорил он.

– Вы, верно, рано любите ложиться спать? – спросил Эльчанинов.

– Гасите, пожалуйста, поскорее, – сказал вместо ответа Мановский.

– Я еще не хочу спать, – возразил Эльчанинов.

Задор-Мановский, не отвечая, повернулся к стене.

«Черта с два, познакомишься с этим медведем», – подумал Эльчанинов и лег, решившись не гасить свечу, чтобы хоть этим досадить Мановскому. Истерзанный душевным волнением, усталый физически, он задремал. Уже перед ним начинал носиться образ Анны Павловны, который как бы незаметно принимал наружность вдовы. Этот призрак улыбался ему, манил его и потом с громким смехом отталкивал от себя. Голова его закружилась, сердце замерло, он чувствовал, что падает в какую-то пропасть, и проснулся. Окинув глазами комнату, он увидел, что Задор-Мановский, вставший в одной рубашке с постели, брался за свечу.

– Что вы делаете? – спросил он.

Мановский, не отвечая ни слова, погасил свечу и опять лег на постель.

Эльчанинов видел необходимость повиноваться.

«Этакая скотина», – думал он, и досада и тоска не

давали ему спать.

Прошел уже целый час в мучительной бессоннице, как вдруг ему послышалось, что товарищ его начинает приподниматься. Эльчанинов напряг внимание. Задор-Мановский действительно встал с постели, тихими шагами подошел к двери, отпер ее и вышел; потом Эльчанинову послышалось, что замок в дверях щелкнул.

– Что вы делаете? – воскликнул было он. Ответа не было. Эльчанинов встал с постели и подошел к двери: она была действительно заперта снаружи. «Что это значит?» – думал он и, решившись во что бы то ни стало разгадать загадку, подошел к окну, которое было створчатое, и отворил его. До земли было аршина три, следовательно, выпрыгнуть было очень возможно. Одевшись на скорую руку, Эльчанинов соскочил на землю и очутился в саду. Ночь была темная. Почти ощупью пробрался он на главную аллею и вошел на балкон, выход на который был из гостиной, где увидел свечку на столе, Клеопатру Николаевну, сидевшую на диване в спальном капоте, и Мановского, который был в халате и ходил взад и вперед по комнате. Эльчанинов приложил ухо к железной форточке в нижнем стекле и стал прислушиваться.

– Я вас прошу об одном, чтобы вы ушли, потому что он может проснуться и прийти сюда же, – говорила

Клеопатра Николаевна умоляющим голосом.

– Не придет: я его запер, – отвечал Мановский. – А мне надобно с вами переговорить.

– Ну, говорите же по крайней мере, я вас слушаю, – отвечала Клеопатра Николаевна и кокетливо завернулась в платок.

Эльчанинову показалось отвратительным это движение.

– А говорить то, что я из-за вас в петлю не полезу. Если вы ко мне так, так и я к вам так. Считать тоже умеем. Свою седьмую часть вы давно продали. Всего семьсот рублей платят за девушку в институт. Прочие доходы должны идти для приращения детского капитала, следовательно... – говорил Мановский.

– Это ужасно! – воскликнула Клеопатра Николаевна, всплеснув руками.

Первым движением Эльчанинова было вступить за бедную женщину и для того войти в гостиную и раскроить стулом голову ее мучителю. С такого рода намерением он соскочил с балкона, пробрался садом на крыльцо и вошел в лакейскую; но тут мысли его пришли несколько в порядок, и он остановился: вся сцена между хозяйкой и Мановским показалась ему гадка. Подумав немного, он вынул из кармана клочок бумаги и написал: «Я все видел и могу только пожалеть об вас; вам предстоит очень низко упасть. Удержитесь».

Разбудив потом лакея и велел ему отдать письмо барыне, когда она проснется, спросил себе лошадь и через четверть часа скакал уже по дороге к своей усадьбе.

IX

В то же самое воскресенье, в которое, по воле судьбы, моему герою назначено было испытать столько разнообразно неприятных ощущений, граф, начавший ждать Анну Павловну еще с десяти часов утра, ходил по своей огромной гостиной. В костюме его была заметна изысканность и претензия на молодость: на нем был английского тонкого сукна довольно коротенький сюртучок; нежный и мягкий платок, замысловато завязанный, огибал его шею; две брильянтовые пуговицы застегивали батистовую рубашку с хитрейшими складками. Жилет был из тонкого индийского кашемира; редкие волосы графа были слегка и так искусно подвиты, что как будто бы они вились от природы. Пробило двенадцать. Граф начинал ходить более и более беспокойными шагами, поглядывая по временам в окно.

Тихими шагами вошел Иван Александрыч, с ног до головы одетый в новое платье, которое подарил ему Сапега, не могший видеть, по его словам, близ себя человека в таком запачканном фраке. Граф молча кивнул племяннику головой и протянул руку, которую тот схватил обеими руками и поцеловал с благоговением. Улыбка презрения промелькнула в лице Сапе-

ги, и он снова начал ходить по комнате. Прошло еще четверть часа в молчании. Граф посмотрел в окно.

– Что, если она не приедет! – сказал он как бы про себя.

– Приедет, ваше сиятельство, непременно приедет, – подхватил Иван Александрыч.

– А ты почему знаешь?

– А уж знаю, ваше сиятельство, непременно приедет.

– Ничего ты не знаешь.

В это время вдали показалась шестериком карета.

– А что, ваше сиятельство, это что? – воскликнул Иван Александрыч, смотревший так же внимательно на дорогу, как и сам граф.

– А что такое? – спросил Сапега, как бы боясь обмануться.

– Это-с карета Задор-Мановского, вот и подседельная ихняя, – я знаю.

– Будто? – сказал граф; глаза его заблестали радостью. – Поди, Иван, скажи, чтобы люди встретили.

Иван Александрыч выбежал.

– Милочка моя, душечка... ах, как она хороша! Глазки какие! О, чудные глазки! – говорил старик, потирая руки, и обыкновенно медленные движения его сделались живее. Он принялся было глядеть в зеркало, но потом, как бы не могли сдержать в себе чувства

нетерпения, вышел в залу. Анна Павловна, одетая очень мило и к лицу, была уже на половине залы.

– Милости просим, моя бесценная Анна Павловна, – говорил старик, протягивая к ней руки.

Мановская поклонилась.

– Ручку вашу, ручку... или нет, я старик, меня можно поцеловать... поцелуйте меня!

– Извольте, граф, – отвечала с улыбкой Анна Павловна.

Они поцеловались. Граф под руку ввел ее в гостиную. Иван Александрыч остался в зале (при гостях он не смел входить в гостиную). В этой же зале, у дверей к официантской, стояли три лакея в голубых гербовых ливреях.

– Иван Александрыч, Иван Александрыч! Кто эта барыня? – спросил один из них.

Иван Александрыч ни слова не отвечал: он очень обижался, когда с ним заговаривали графские лакеи.

– Иван Александрыч! Что вы, сердиты, что ли? А еще старый приятель, – продолжал насмешник, и лакеи захохотали.

Сконфуженный и раздраженный, Иван Александрыч глядел в окно.

Между тем граф усадил свою гостью на диван и сам поместился рядом.

– Ах, если б вы знали, с каким нетерпением я вас

ждал! – начал он.

– Благодарю, граф.

– И... только-то?

Анна Павловна ничего не отвечала.

– Я вас очень люблю! – продолжал старик, ближе подвигаясь к Анне Павловне. – Дайте мне еще поцеловать вашу ручку: вы все что-то печальны... Скажите мне, любите ли вы вашего мужа?

Анна Павловна вспыхнула.

– Всякая женщина должна любить своего мужа, – сказала она.

– Нет, вы скажите мне откровенно, как другу вашего отца, как человеку, который дорожит вашим счастьем и который готов сделать для вас все.

– Я люблю моего мужа, – отвечала молодая женщина, не решившаяся быть откровенной.

– Нет, вы не любите вашего мужа, – возразил Сапега, внимательно смотря на свою гостью. – Вы не можете любить его, потому что он сам вас не любит и не понимает.

– Кто вам сказал это, граф?

– Мои собственные наблюдения, милая Анна Павловна. Будьте со мною откровенны, признайтесь мне, как бы вы признались вашему отцу, который, помните, любил меня когда-то. Скажите мне, счастливы ли вы?

Анна Павловна начала колебаться: ей казалось,

что граф говорил искренне, и слезы невольно навернулись на ее глазах.

– Я вижу, вы не любите мужа, и он вас не любит, – продолжал граф, едва скрывая внутреннее удовольствие.

Анна Павловна не могла долее воздержаться и зарыдала.

– Бедная моя, – говорил граф, – не плачьте, ради бога, не плачьте! Я не могу видеть ваших слез; чем бесполезно грустить, лучше обратиться к вашим друзьям. Хотите ли, я разорву ваш брак? Выхлопочу вам развод, обеспечу ваше состояние, если только вы нуждаетесь в этом.

– Граф, – возразила молодая женщина, – я должна и буду принадлежать моему мужу всегда.

Сапега увидел, что он слишком далеко зашел.

– По крайней мере позвольте мне участвовать в вашей судьбе, облегчать ваше горе, и за все это прошу у вас ласки, не больше ласки: позвольте целовать мне вашу ручку. Не правда ли, вы будете меня любить? Ах, если бы вы в сотую долю любили меня, как я вас! Дайте мне вашу ручку. – И он почти силой взял ее руку и начал целовать.

Внутреннее волнение графа было слишком явно: глаза его горели, лицо покрывалось красными пятнами, руки и ноги дрожали.

Анна Павловна заметила это, и неудовольствие промелькнуло по ее лицу. Она встала с дивана и села на кресло.

– О, не убегайте меня! – говорил растерявшийся старик, протягивая к ней руки. – Ласки... одной ничтожной ласки прошу у вас. Позвольте мне любить вас, говорить вам о любви моей: я за это сделаюсь вашим рабом; ваша малейшая прихоть будет для меня законом. Хотите, я выведу вашего мужа в почести, в славу... я выставлю вас на первый план петербургского общества: только позвольте мне любить вас.

Негодование и горечь изобразились на кротком лице Анны Павловны.

– Умоляю вас, граф, не унижайте меня; я несчастлива и без того! – сказала она, заливаясь слезами, и столько глубоких страданий, жалоб и моления, столько чистоты и непорочности сердца послышалось в этих словах, что Сапега, несмотря на свое увлечение, как бы невольно остановился.

В первый почти раз женщина не гневом и презрением, а слезами просила его прекратить свои искания, или, лучше сказать, в первый еще раз женщина отвергнула его, богатого и знатного человека. Он решил притвориться и ожидать до времени. «Ее надобно приучить к мысли любить другого, а не мужа, – подумал он, – а я ей не противен, это видно».

– Простите моему невольному увлечению и останьтесь друзьями, – сказал он, подходя к Анне Павловне и подавая ей руку.

Во весь остальной день граф не возобновлял первого разговора. Он просил Анну Павловну играть на фортепиано, с восторгом хвалил ее игру, показывал ей альбомы с рисунками, водил в свою картинную галерею, отбирал ей книги из библиотеки. Узнавши, что она любит цветы, он сам повел ее в оранжереи, сам вязал для нее из лучших цветов букеты, одним словом, сделался внимательным родственником и больше ничего.

Часу в шестом вечера Анна Павловна начала собираться домой. При прощании граф, как бы не могший выдержать своей роли, долго и долго целовал ее руку, а потом почти умоляющим голосом просил дать ему прощальный поцелуй.

На этот раз Анна Павловна исполнила его желание почти с неудовольствием. Провожая ее до крыльца, граф взял с нее честное слово приехать к нему через неделю и обещался сам у них быть после первого визита Задор-Мановского.

Анна Павловна уехала.

Граф остался один: наружное спокойствие, которое он умел выдержать в присутствии Мановской, пропало.

«Что это значит, – думал он, – она не любит мужа – это видно, почему же она отвергает и даже оскорбляется моими исканиями? Я ей не противен, никакого чувства отвращения я не заметил в ней... напротив! Если я круто повернул и если только это детская мораль, ребяческое предубеждение, то оно должно пройти со временем. Да и что же может быть другое? Уж не любит ли она кого-нибудь?»

На этой мысли граф остановился.

«Отчего я не узнал, – подумал он с досадой, – она начинала быть так откровенна. Но узнать ее любовь к другому от нее самой – значит потерять ее навсегда. Но от кого же узнать? Соседи... их неловко спрашивать». Граф вспомнил об Иване Александрыче и позвонил в колокольчик.

– Позвать Ивана Александрыча, – сказал он вошедшему лакею.

Не прошло секунды, Иван Александрыч был уже в гостиной. Он давно стоял у дверей и боялся только войти.

– Пойдем, Иван, в кабинет, – сказал граф, уходя из гостиной. Оба родственника вошли в знакомый уже им кабинет. Граф сел на диван. Иван Александрыч стал перед ним, вытянувшись.

– Говори что-нибудь, Иван, – произнес граф.

– Что прикажете, ваше сиятельство?

– Например, сплетни здешние.

– Сплетни, ваше сиятельство?

– Да, сплетни, например, что здесь говорят про эту даму, которая у меня была здесь сейчас?

– Что говорят, ваше сиятельство, да мало ли что говорят! Хвалят-с, – отвечал Иван Александрыч, который, видя внимание, оказанное графом Мановской, счел за лучшее хвалить ее.

– За что же хвалят?

– За красоту, ваше сиятельство, – отвечал племянник, припоминая, что граф называл ее красавицей.

– А каково она живет с мужем?

– Дела семейные трудно судить, ваше сиятельство, кажется, что не очень согласно; впрочем, он-то...

– Он боров!

– Именно боров, ваше сиятельство, – отвечал Иван Александрыч и засмеялся, чтоб угодить графу.

– Так, стало быть, она не любит мужа?

– Не любит, ваше сиятельство, будьте спокойны, не любит.

– А другого кого-нибудь не любит ли?

– Другого-с?

– Да, нет ли слухов?

– Слухов-то нет, ваше сиятельство! – начал Иван Александрыч и остановился. Он вспомнил угрозы Эльчанинова.

– Ну, так что же, если слухов нет? – повторил граф.

– Слухов нет-с, а я кой-что знаю, – ответил Иван Александрыч. Он решительно не в состоянии был скрыть от графа узнанной им про Анну Павловну тайны, которой тот, как казалось ему, интересовался.

– Что же такое ты знаешь? – спросил Сапега с беспокойным любопытством.

– А знаю, ваше сиятельство... только, бога ради, не говорите, что от меня слышали.

– Не торгуйся, – сказал нетерпеливо граф.

– Извольте припомнить, как вы изволили посылать меня в Могилки, чтобы известить о вашем приезде?

– Ну?

– Вот я и приезжаю. Спрашиваю: «Дома господа?» – «Нет, говорят, барин уехал в город, а барыня в оржаном поле прогуливается». Ах, думаю, что делать?.. Пометался по полю туда-сюда; однако думаю: дай-ка пойду к Лапинской роще; там грибы растут, – не за грибами ли ушла Анна Павловна? Только подхожу к опушке, глядь, она как тут, да еще и не одна.

– Как не одна! С кем же?

– С Валерьяном Александрычем Эльчаниновым.

– Кто такой Эльчанинов?

– Помещик-с, молодой человек, образованный, умный. Ба-ба, думаю себе, вот оно что! Подхожу; пере-конфузились; на обоих лица нет; однако ничего: по-

здоровались. Я передал приказание вашего сиятельства. Анна Павловна нечего уж и не понимает! Иван Александрыч... Валерьян Александрыч... говорит и сама не знает что.

– Ты не лжешь ли, Иван? – спросил граф.

– Скорее жизни себя лишу, чем солгу вашему сиятельству! – отвечал Иван Александрыч.

– Но, может быть, он как гость приехал, и они гуляли? – спросил Сапега.

– Вот в том-то и штука, ваше сиятельство, что с мужем он незнаком. После, как поздоровались мы: «Пойдемте, – говорит Анна-то Павловна, – в усадьбу», а Эльчанинов говорит: «Прощайте, я не пойду!» – «Ну, прощайте», говорит. Вот мы и пошли с нею вдвоем. «Что это, – говорю я, – Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу?» – «Не хочет, говорит, незнаком с мужем». А сама так и дрожит. Ну, я что ж, и не стал больше спрашивать; еду потом назад, гляжу: Валерьян Александрыч дожидается и только что не стал передо мной на колени. «Вы, говорит, благородный человек, Иван Александрыч! Не погубите нас, не говорите никому!.. Люди мы молодые». – «Что мне, говорю, за дело, помилуйте». – «Нет, говорит, побожиться». Я и побожился. Да уж для вашего сиятельства и божба нипочем: вам сказать и бог простит.

Теперь для графа все было ясно: Анна Павловна

отвергала его искания, потому что любила другого. Мысль эта, которая, может быть, охладила бы пылкого юношу и заставила бы смиренно отказаться от предмета любви своей, эта мысль еще более раздражила избалованного старика: он дал себе слово во что бы то ни стало обладать Анной Павловной. Первое, что считал он нужным сделать, это прекратить всякое сношение молодой женщины с ее любовником; лучшим для этого средством казалось ему возбудить ревность Мановского, которого, видев один раз, он очень хорошо понял, какого сорта тот гусь, и потому очень верно рассчитывал, что тот сразу поставит непреодолимую преграду к свиданиям любовников. В деревне это возможно: молодой человек, после тщетных усилий, утомится, будет скучать, начнет искать развлечений и, может быть, даже уедет в другое место. Анна Павловна будет еще хуже жить с мужем; она будет нуждаться в участии, в помощи; все это представит ей граф; а там... На что женщина не решается в горьком и безнадежном положении, когда будут предлагать ей не только избавить от окружающего ее зла, но откроют перед ней перспективу удовольствий, богатства и всех благ, которые так чаруют молодость. Не удивляйтесь, читатель, тому отдаленному и не совсем честному плану, который так быстро построил в голове своей граф. Он не был в сущности злой чело-

век, но принадлежал к числу тех сластолюбивых стариков, для которых женщины – все и которые, тонко и вечно толкуя о красоте женской, имеют в то же время об них самое грубое и материальное понятие. «Но как дать знать мужу? – продолжал рассуждать граф. – Самому сказать об этом неприлично». Иван Александрович был избран для того.

– Послушай, Иван, – сказал граф, – ты скверно поступаешь.

– Я, ваше сиятельство? – спросил тот, удивленный и несколько испуганный.

– Да, ты, – продолжал граф. – Ты видел, что жена твоего соседа гибнет, и не предупредил мужа, чтобы тот мог и себя и ее спасти. Тебе следует сказать, и сказать как можно скорее, Мановскому.

– Сказать!.. Да что такое я скажу, ваше сиятельство?

– Что ты видел его жену на тайном свидании с этим, как его?..

– Нет, ваше сиятельство, не могу, вся ваша воля, не могу; меня тут же убьет Мановский. Я знаю его: он шутить не любит!.. Да и Эльчанинов уж очень обидится!

– Ты страшный болван, – сказал граф сердито. – За что же тебя убьет Мановский? Ты еще сделаешь ему добро!.. А другой не может этого узнать: как он узнает?

– Оно так, ваше сиятельство! Все-таки сами посу-

дите: я человек маленький!.. Меня всякий может раздавить!.. Да и то сказать, бог с ними! Люди молодые... по-божески, конечно, не следует, а по-человечески...

– Поди же вон, – сказал граф. – Я не люблю мерзавцев, которые способствуют разврату!

Иван Александрыч чуть не упал в обморок.

– Помилуйте, ваше сиятельство, – сказал он плачевным голосом, – я не к тому говорю... Извольте, если вам угодно, я скажу.

– Давно бы так! – сказал граф более ласковым голосом. – Ты, по чувству чести, должен сказать, как дворянин, который не хочет видеть бесчестия своего брата.

– Конечно, ваше сиятельство. Я так и скажу; скажу, как дворянин дворянину.

– Так и скажи! Ступай! Но обо мне чтобы и помину не было; я только так говорю.

– Как можно-с!.. Можно ли ваше сиятельство мешать в эти дела?

– Ну, ступай!

Иван Александрыч вышел из кабинета не с такой поспешностью, как делал это прежде, получая от графа какое-либо приказание. В первый раз еще было тягостно ему поручение дяди, в первый раз он почти готов был отказаться от него: он без ужаса не мог представить себе минуты, когда он будет рассказы-

вать Мановскому; ему так и думалось, что тот с первых же слов пришибет его на месте.

Х

Теперь прошу читателя вместе со мною перенестись на несколько минут в усадьбу Коровино, принадлежащую Эльчанинову, и посмотреть на домашнюю жизнь моего героя. Он жил в большом, но очень ветхом доме, выстроенном еще его отцом. Гостиная этого дома, как и в доме Задор-Мановского, была, по преимуществу, то место, где хозяин проводил свое время, когда бывал дома. Странный представляла вид эта комната с тех пор, как поселился в ней молодой барин. Вместо церемонности и чистоты, которыми обыкновенно отличаются гостиные в семейных помещичьих домах, она представляла страшный беспорядок: на столе и на диванах валялись разные книги, из которых одни были раскрыты, другие совершенно лишены переплета. По большей части это были прошлогодние журналы, переводные сочинения и несколько французских романов; большим почтением, казалось, пользовались: Шекспир в переводе Кетчера¹¹ и полные сочинения Гете на немецком языке. Они стояли на стоявшей в углу этажерке и даже бы-

¹¹ Кетчер, Николай Христофорович (1809—1886) – врач по профессии, поэт и переводчик. В 40-х годах был близок к кругу литераторов, группировавшихся вокруг В.Г.Белинского и А.И.Герцена.

ли притиснуты мраморной дощечкой с сидящею на ней собакой. На круглом столе стояла матовая лампа; на полу и на окне были целые кучи табачного пепла и валялось несколько недокуренных сигар. На столе, под зеркалом, стоял очень хороший мраморный бюст Вальтер-Скотта. За рамкой портрета отца был заткнут портрет Щепкина¹². Рядом с портретом матери висела гравюра какой-то полуобнаженной женщины. Словом, тут было все, что бывает обыкновенно в грязных и холодных номерах, занимаемых студентами.

Спустя четыре дня с тех пор, как мы расстались с Эльчаниновым, он в длинном, польского покроя, халате сидел, задумавшись, на среднем диване; на стуле близ окна помещался Савелий, который другой день уж гостил в Коровине. Молодые люди были почти друзья. Случилось это следующим образом: на другой день после приезда от вдовы Эльчанинов проснулся часов в двенадцать. Ему была страшная тоска и скука: он грустил по Анне Павловне. Забыв и ревность и неисполненное обещание, он страстно желал ее видеть. Ехать прямо не было никакой возможности. Задор-Мановский, конечно, не пустит его и на крыльцо. Два раза он подъезжал к Могилкам; два раза приходил на место свидания, обходил кругом поле; но все

¹² Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) – великий русский актер, один из основоположников реализма на русской сцене.

было напрасно. Он не видал никого...

Грустный и растерзанный, возвратился он домой. «Что мне делать, что мне предпринять? – говорил он сам с собою, – нельзя ли послать человека, но где и как лакей может ее видеть?» Тут он вспомнил о поручении, которое сделал Савелью: может быть, он исполнил его, может быть, он был там и что-нибудь ему скажет.

С этим намерением он послал к Савелью письмо, которым приглашал его приехать к нему и посетить его, больного. Вместе почти с посланным явился и Савелий. После первых же приветствий нетерпеливый Эльчанинов спросил своего гостя: был ли он у Мановского?

– Нет еще, – отвечал тот.

– А скоро ли думаете быть?

– Дня через два.

– Зачем же так долго?

– Я видел Михайла Егорыча. Он велел мне послезавтра побывать у него.

Еще два дня, страшные, мучительные два дня, должен был дожидаться Эльчанинов, один, в скуке; в гости ехать он никуда не мог.

– Не сделаете ли вы мне одолжение? – сказал он, обращаясь к своему гостю.

– Какое?

– Пробудьте эти два дня у меня.

– Работа у нас теперь спешная: сенокос-с.

– Я к вам пошлю двух-трех мужиков, сколько вы хотите, – сказал Эльчанинов.

– Хорошо, – отвечал Савелий и остался.

Молодые люди начали разговаривать. Эльчанинов много говорил о женщинах, об обязанностях человека, о различии состояний, о правах состояний, одним словом – обо всем том, о чем говорит современная молодежь. Савелий слушал со вниманием и только изредка делал небольшие замечания, и – странное дело! – при каждом из этих замечаний, сказанном простым и необразованным человеком, Эльчанинов сбивался с толку, мешался и принужден был иногда переменять предмет разговора. Результатом этой беседы было то, что Эльчанинов начал с полным уважением смотреть на Савелья. Он видел в нем очень умного человека. Целый день друзья проговорили без умолку. Ночью Эльчанинову пришло в голову попросить Савелья передать Анне Павловне письмо. С этой мыслью он проснулся часу в девятом. Савелий, привыкший рано вставать, давно уже сидел, одевшись, у окна.

– Вы поздно встаете, – сказал он хозяину.

– Привычка, – отвечал Эльчанинов. – Впрочем, я вчера долго не спал. Мне было грустно.

– О чем?

– Я много имею причин грустить.

Савелий молча посмотрел на него.

– Например, мне теперь ужасно хочется видиться с одной женщиной, – продолжал Эльчанинов, – и не имею на это никаких средств.

– Что же вам мешает?

– Что обыкновенно мешает в этих случаях... Муж!..

Савелий улыбнулся.

– Вы говорите про Анну Павловну? – проговорил он.

– Однако вы догадливей, нежели я думал, – сказал Эльчанинов, решившийся окончательно посвятить в свою тайну Савелья, в благородство которого он уже верил.

– Да нетрудно и догадаться, – сказал тот.

– Я надеюсь, – сказал Эльчанинов, пожимая руку новому поверенному.

Савелий ничего не отвечал. В лице его видно было какое-то странное выражение.

– Я вас хотел попросить, Савелий Никандрович, – начал Эльчанинов с небольшим волнением, – не передадите ли вы от меня письмо Анне Павловне?

Удивление изобразилось в лице Савелья.

– Письмо! – сказал он. – Разве вы переписываетесь?

– Я знал ее еще в Москве и там уже любил ее.

Шесть лет, как я люблю ее одну, шесть лет, как для меня не существует другой женщины.

– Отчего же вы не женились на ней?

– Нас разлучили!.. И притом же она была дочь богатого человека!

– А может, она и пошла бы за вас?

– Может быть, но дело в том, что нас разлучили совершенно нечаянно: отец ее почти в один день собрался и уехал в свое имение.

– Отчего же вы за ними не поехали?

– Я не знал, куда они уехали.

– А разве этого нельзя было узнать?

Эльчанинов смешался.

– Я и сам не знаю, как это случилось, – начал он, поправившись, – но только мы потеряли друг друга из виду. Три года прожил я в адских мучениях, как вдруг услышал, что она здесь; бросил все, бросил службу, все надежды на будущность и приехал сюда, чтоб только жить близ этой женщины, видеться с нею; но и на этот раз удачи нет. Маленькая неприятность, которую я имел недавно с ее мужем, не позволяет мне бывать у них в доме. Переписка осталась единственным утешением; но и та, без вашей помощи, невозможна. Не откажитесь, добрый друг, сделать человека счастливым, дайте возможность хоть несколько вознаградить мои страдания. Вы себе представить не можете,

как это ужасно! Желать!.. Стремиться!..

Эльчанинов вздохнул. Савелий слушал его очень внимательно.

– А Анна Павловна вас любит? – спросил он.

– Это очень щекотливый вопрос, – отвечал Эльчанинов, – впрочем, я вам скажу: она любит меня.

– Она очень несчастлива в замужестве! – сказал Савелий.

– Знаю, – отвечал мрачно Эльчанинов. – Я готов был почти убить этого господина; но что из этого какая может быть польза! Скажите лучше, друг: исполните ли вы мою просьбу?

– Извольте! – отвечал Савелий.

Эльчанинов бросился его обнимать.

Весь остальной день приятели только и говорили, что об Анне Павловне, или, лучше сказать, Эльчанинов один беспрестанно говорил об ней: он описывал редкие качества ее сердца; превозносил ее ум, ее образование и всякий почти раз приходил в ожесточение, когда вспоминал, какому она принадлежит тирану. Ночью он изготовил к ней письмо такого содержания:

«Бог вам судья, что вы не исполнили обещания. Боюсь отыскивать тому причины и заставляю себя думать, что вы не могли поступить иначе. Безднадежность увидеться с вами заставляет меня рисковать:

письмо это посылаю с С... Н... Он добрый и благородный человек, в глубоком значении этого слова. Чтобы не умереть от грусти, я должен с вами видеться. Если пройдет несколько дней и я не увижусь с вами, не ручаюсь, что со мной будет... Я не застрелюсь – нет! Я просто умру с печали... Прощайте, до свиданья».

Савелий ушел поутру, обещаясь в тот же день принести Эльчанинову ответ.

XI

В Могилках между тем шло, по-видимому, прежним порядком. Задор-Мановский только что приехал из города. Анна Павловна не так хорошо себя чувствовала и почти лежала в постели. Прием графа сделал на нее самое неприятное впечатление. Оскорбленная его обращением, она едва в состоянии была скрыть неприятное чувство, которое начал внушать ей этот человек, и свободно вздохнула тогда только, как выехала от него и очутилась одна в своей карете; а потом мысли ее снова устремились к постоянному предмету мечтаний – к Эльчанинову, к честному, доброму и благородному Эльчанинову. Тотчас по приезде своем, не переменяя даже платья, пошла она к Лапинской роще, в нетерпении скорее узнать, взял ли он письмо и нет ли еще его там, потому что было всего восемь часов вечера, но никого не нашла. Со вниманием начала она осматривать то место дерева, где положена была записка, – там ее не было. На сердце Анны Павловны начинало становиться легче; но вдруг она заметила что-то белое, лежавшее на дне трещины, и с помощью прутика вытащила бумажку. – Это была ее записка. Все надежды рушились: она не будет его видеть завтра, может быть, никогда. Он рассердил-

ся и оставил ее одну, опять одну, среди ее мук, в то время, когда ей угрожает еще новая опасность от графа. Не помня почти себя, она возвратилась домой и бросилась на кровать. Тысяча средств было придумано, чтобы известить Эльчанинова, но ни одно не было возможно, и, таким образом, прошли три страшные, мучительные дня; от Эльчанинова не было ни весточки. В припадке исступления Анна Павловна решилась идти пешком в усадьбу его, которая, она слыхала, в десяти всего верстах; идти туда, чтобы только видеться с ним и выпросить у него прощение в невольном проступке, и, вероятно бы, решилась на это; но приехал муж, и то сделалось невозможно. Сама не зная, что делать, бедная женщина притворилась больной и легла в постель. Михайло Егорыч возвратился на этот раз в более, казалось, добром и веселом расположении духа, нежели обыкновенно. Узнавши о болезни жены, он вошел в ее спальню и, чего никогда еще не бывало, довольно ласково спросил, чем именно она больна, и потом даже посоветовал ей обтереться вином с перцем, единственным лекарством, которым он сам пользовался и в целительную силу которого верил.

– Уж не сиятельные ли любезности уложили тебя и постель? – сказал он шутя.

Анна Павловна ничего не отвечала.

Постояв еще немного в спальней, Мановский вышел, отобедал и потом, вытянувшись на диване в гостиной и подложив под голову жесткую кожаную подушку, начал дремать; но шум мужских шагов в зале заставил его проснуться.

Это был Савелий.

– Здорово, брат, – сказал хозяин, не поднимаясь с дивана и протягивая свою огромную руку гостю.

Мановский обходился с Савельем ласково, потому что часто нуждался в нем по хозяйству.

– Здравствуйте, – отвечал тот, садясь на ближайшее кресло.

– Что скажешь новенького?

– Вы говорили мне побывать у вас.

– Да, похимости¹³, брат, у меня на мельнице; черт ее знает что сделалось: не промалывает. Мои-то, дурачье, никак в толк взять не могут.

– Камни плохи?

– Новые: с полгода как купил. Посмотри, пожалуйста; сегодня некогда, а завтра.

– Мне до завтра нельзя остаться.

– Ну, полно, Савелий, погости, братец; скажи-ка лучше, здорова ли соседка твоя Клеопатра Николаевна?

– Я ее не видал. А ваша Анна Павловна?

¹³ Похимости – поворожи, поколдуй; здесь – постарайся исправить.

– Больна, братец; должно быть, простудилась. Хилая она ведь такая.

– И очень больна? – спросил Савелий.

– Да, лежит.

«Увижу ли я ее, – подумал Савелий, – придется ночевать. Авось, утром выйдет».

– Кто там? – закричал Мановский, услышавши небольшой шум.

Вместо ответа в комнату вошел Иван Александрыч, бледный, на цыпочках, как бы удерживая дыхание.

– А, ваше сиятельство! – сказал хозяин. – Прошу покорнейше пожаловать. Сколько лет, сколько зим не видались.

Мановский был в очень добром расположении духа.

Но Иван Александрыч вместо ответа только кланялся.

– Что это вы такие пересовращенные? Уж не уехал ли ваш дядюшка?

– Никак нет-с. Его сиятельство еще долго проживут.

– Благодарение господу!.. Садитесь, батюшка Иван Александрыч.

Иван Александрыч сел.

– Расскажите-ка нам, что поделявает ваш сиятельнейший дядюшка, каково поживает, каково кушает?

– То есть каково здоровье его сиятельства?

– Да, хоть каково здоровье?

– Очень хорошо-с.

– Благодарение господу! Да сохранит он его на долгие дни.

Иван Александрыч переминался.

– Я имею вам, Михайло Егорыч, нечто сказать, – проговорил он нетвердым голосом.

– Мне?.. А что бы такое?..

– Я могу сказать только один на один.

– Странно!.. Уж не хотите ли у меня для дядюшки попросить денег взаймы? Вперед говорю: не дам.

– У его сиятельства у самих денег целые горы.

– Так что бы такое это было?

– При людях не могу, Михайло Егорыч, ей-богу, не могу...

– При людях не можете?.. Делать нечего... выдь, брат Савелий, пройди к жене в спальню... Знаешь, где?

– Знаю, – сказал Савелий, обрадованный случаем повидаться с Анной Павловной, и вышел.

– Ну, говорите, – сказал Мановский.

Иван Александрыч медлил; лицо его было бледно, руки и ноги дрожали.

– Да что это с вами? – спросил Задор-Мановский, видя смущение его.

– Михайло Егорыч, – начал, наконец, дрожащим го-

лосом Иван Александрыч, – я дворянин; не богатый, но дворянин; понимаете, в душе дворянин!

– Черт вас знает, что у вас там в душе? – сказал Мановский, которого начинали бесить загадочные речи соседа.

– В душе у меня сердце, Михайло Егорыч, – продолжал тот. – Я дворянин... мне горько, когда другого дворянина обижают.

– Что за околесица: дворянин... дворянина обижают!.. Да что вы такое городите?

– Михайло Егорыч! Вы не знаете, а вас обижают.

– Меня обижают? Кто меня обижает?

– Валерьян Александрыч Эльчанинов, – отвечал Иван Александрыч.

– Эльчанинов... Да вам кой черт на бересте это написал? – сказал, покрасневши, Мановский, думая, что Иван Александрыч хочет говорить про происшествие у вдовы.

– Я сам видел, Михайло Егорыч.

– Сами видели... да где же и что вы видели?

– Видел их вместе.

– Где вместе?

– Здесь, в поле, и, кажется, целовались.

При последних словах досада и беспокойство показались на лице Мановского.

– Да по кой черт в поле-то они сюда зашли? – спро-

сил он.

– Видно, так согласились; я их нашел вдвоем и после с ней пришел сюда в Могилки.

– Сюда? Да сюда зачем же?

– Она меня пригласила к себе.

– Ну, так вы к ней бы и шли.

– Я и пришел к ним.

– Как пришел к ним? Да ведь кто вас пригласил?

– Анна Павловна-с...

– Жена моя? – произнес Мановский.

– Супруга ваша-с, – отвечал Иван Александрыч.

– Да ее-то где вы видели?

– Я вам докладывал, что я их видел в поле с Валерьяном Александрычем.

– Так это жена моя была... Ты ее видел с Эльчаиновым? – начал глухим голосом Мановский, приподнимаясь с дивана, и глаза его налились кровью и страшно взглянули на Ивана Александрыча, который ни жив ни мертв сидел на стуле и не мог даже ничего отвечать.

– А, милостивая государыня, – сказал Мановский, переломивши первое движение гнева, – так вот ты чем больна? Эй! – закричал он.

Явился лакей.

– Пошли сюда барыню, сейчас же... сию секунду.

Иван Александрыч поднялся со стула.

– Прощайте, Михайло Егорыч, – проговорил он тихим голосом.

– Сидите, вы мне нужны, – сказал Мановский повелительным голосом.

Иван Александрыч сел, и после нескольких минут молчания в гостиную вошла Анна Павловна, с довольно веселым лицом: она сейчас получила письмо от Эльчанинова. Вслед за ней вошел и Савелий.

– Поди сюда ближе, – сказал Мановский. – Этот человек, – продолжал он, указывая на Ивана Александрыча, – говорит, что видел тебя с любовником в здешнем поле... уличи его, что он лжет.

Смертная бледность покрыла лицо бедной женщины; дыхание остановилось у ней в груди.

– Вы, Иван Александрыч... – начала она, но голос ее прервался.

– Говорят тебе, оправдывайся, или я тебя убью! – заревел Мановский и схватил ее одной рукой за ворот капота, а другой замахнулся. В первый еще раз поднимал он на жену руку. Негодование и какое-то отчаяние отразилось на бледном ее лице.

– Он не лжет, я люблю того человека и ненавижу вас! – вскричала она почти безумным голосом, и в ту же минуту раздался сильный удар пощечины. Анна Павловна, как пласт, упала на пол. Мановский вскочил и, приподняв свою громадную ногу, хотел, кажет-

ся, сразу придавить ее; но Савелий успел несчастную жертву схватить и вытащить из гостиной. Она почти не дышала.

– А! – ревел Мановский. – Так ты так-то!.. – и обратился было к Ивану Александрычу, но тот уж скрылся и, что есть силы, гнал на беговых дрожках в Каменки.

– Люди! – произнес Мановский, как бы обеспамятев от гнева и садясь на диван.

В комнату вошел бледный лакей.

– Сейчас выгнать ее из моего дома! – сказал он каким-то страшно спокойным голосом.

В дверях показался Савелий.

– Михайло Егорыч, вспомните, что вы делаете! – сказал он. – Куда пойдет Анна Павловна?

– К черту! Пускай идет к любовнику.

– Бог вас накажет, Михайло Егорыч, вы и себя и ее губите.

Мановский не отвечал.

– Малой! – крикнул он.

В комнату явился прежний лакей.

– Выгнали ли?

– Барыня лежит в обмороке, – произнес робко лакей.

– Вытащить ее на руках! – проревел Мановский.

– Михайло Егорыч, – произнес Савелий.

– Убирайтесь к черту! – продолжал Мановский.

– Михайло Егорыч! Я на вас донесу предводителю!

– Хо-хо-хо! Ах ты, лапотник! Пошел вон!

– Помните, Михайло Егорыч, бога! Не раскайтесь! – сказал Савелий и вышел.

Через несколько минут страшная сцена совершилась на могилковском дворе. Двое лакеев несли бесчувственную Анну Павловну на руках; сзади их шел мальчик с чемоданом. Дворовые женщины и даже мужики, стоя за углами своих изб, навзрыд плакали, провожая барыню. Мановский стоял на крыльце; на лице его видна была бесчувственная холодность. Мщение его было удовлетворено. Он знал, что обрекал жену или на нищету, или на позор. Между тем двое слуг, несших Анну Павловну, прошли могилковское поле и остановились.

– Уж не умерла ли она?

– Боюсь, Сеня, дальше-то идти; положим здесь, авось, опомнится и добредет куда-нибудь...

– Да только бы опомнилась.

– Ну, так класть, что ли? Лучше ночью можно сбегать сюда.

В это время из опушки леса вышел Савелий.

– Оставьте, братцы, ее, – сказал он, – как опомнится, я доведу ее куда-нибудь.

– Доведите, Савелий Никандрович, – сказали лакеи, – мы уж в той надежде будем.

Они сложили свою ношу. Мальчик положил возле небольшой чемодан.

– Прощайте, матушка Анна Павловна, – сказал Сенька, целуя бесчувственную руку госпожи.

Все они отправились в обратный путь. Савелий один остался с Анной Павловной. Что было ему делать? Куда отвести? К кому-нибудь из соседей? Он знал, что все ее не любят и не дадут прибежища, тем более, когда узнают причину ее изгнания. К Эльчанинову? Но это было... Он холостой человек, он любовник ее: скажут, что она убежала к нему. К себе? Не все ли это равно, что к Эльчанинову. Отвести ее к графу и просить его покровительства и защиты? Это казалось ему всего лучше. А что скажет Эльчанинов? Да и куда захочет она сама?

Размышления его были прерваны стоном, вырвавшимся из груди Анны Павловны. Она опомнилась и приподнялась с земли.

– Где я? – проговорила страдальца, обводя вокруг себя мутным взором.

– Здесь, со мной, Анна Павловна, – сказал Савелий.

– Здесь... Где здесь? Мне помнится, он кричал на меня... он хотел убить меня.

– Да-с... – отвечал Савелий; на глазах его навернулись слезы. – Но теперь вы, однако, успокойтесь: вам

лучше. Пойдемте.

– Идти – куда? Домой?

Савелий ничего не отвечал.

– Куда же мы пойдём? Я не пойду домой. Мне страшно.

– Мы не пойдём в Могилки, – отвечал Савелий.

– Куда же идти?

– Мы пойдём... куда вы захотите.

– Погодите... Я понимаю... муж меня выгнал, он не убил меня, а только выгнал, и за что? За то, что я сказала, что люблю этого человека... Что же? Ведите меня к нему. Я хочу его видеть, хочу рассказать ему, как меня выгнал муж за него. Ведите меня, я давно его не видала, я обманула его.

– Но, Анна Павловна, как же это?.. Неприлично, – возразил было Савелий.

– Ведите меня к нему: у меня никого, кроме него, нет! Бога ради, ведите! – воскликнула бедная женщина, почти вставая перед Савельем на колени.

– Ну, суди меня бог, – проговорил он, махнув рукою, и потом поднял ее и почти на руках понес в Коровино к Эльчанинову.

Часть вторая

I

Прошло два месяца после того дня, как в Могилках разыгралась страшная драма. Она исключительно была предметом разговоров всех соседей. В настоящее время их удивляло то странное положение, в котором держали себя лица, заинтересованные в этом происшествии, которое рассказывалось следующим образом: Анна Павловна еще до замужества вела себя двусмысленно – причина, по которой Мановский дурно жил с женою. Граф, знавший ее по Петербургу и, может быть, уже бывший с нею в некоторых сношениях, приехав в деревню, захотел возобновить с нею прошедшее, а потому первый приехал к Мановскому. Михайло Егорыч, ничего не подозревая, собственно, насчет графа, отпустил ее в Каменки одну. Но Анна Павловна отвергнула на этот раз искание графа, потому что уж любила другого, молодого, Эльчанинова. Граф из ревности велел присматривать за нею Ивану Александрычу, который застал молодых людей в лесу и сказал об этом Мановскому. Михайло Егорыч, очень естественно, вышел из себя и сказал сгоряча жене,

чтоб она оставила его дом, и Анна Павловна, воспользовавшись этим, убежала к своему любовнику, захвативши с собою все брильянтовые вещи, с тем чтобы бежать за границу, – самое удобное, как известно, место для убежища незаконных любовников. До сих пор все это было очень понятно; но далее становились в тупик самые пронизательные умы. Анна Павловна не уезжала за границу, а жила, к стыду и поношению своего мужа, в усадьбе Эльчанинова. Михайло Егорыч, человек с амбицией, все это терпел и допускал ее жить невдалеке от него. С часу на час ожидали все с его стороны какого-нибудь решительного поступка; но он не предпринимал ничего и никуда не выезжал. К нему же ехать никто не смел. Не менее того удивлял и граф. Вместо того чтоб бросить и забыть изменившую ему Анну Павловну, он везде и всем ее хвалил и совершенно извинял и оправдывал ее поступок и, при всей своей деликатности, называл Мановского мерзавцем.

Между тем как в обществе ожидали с таким нетерпением развязки, менее всего, кажется, думали о своем положении главные действующие лица. Почти целые сутки после страшной катастрофы Анна Павловна находилась в каком-то бесчувственном состоянии. Наконец, к ней возвратилось сознание, и первый человек, которого она увидела и узнала, был бледный

и худой Эльчанинов. Она настоятельно просила рассказать ей обо всем случившемся. Эльчанинов повиновался. Выслушав рассказ, она протянула руку к своему покровителю и со слезами благодарила за данное ей убежище.

– Анна! – вскричал в исступлении Эльчанинов. – Сам бог вырвал тебя из рук злодея и отдал мне. Ты навеки моя и должна мне принадлежать, как собственность.

– У меня никого нет, кроме тебя. Я хочу и должна принадлежать тебе! – сказала бедная женщина и без борьбы, без раскаяния бросилась в пропасть, в которую увлекал ее энергичный, но слабый и ветреный человек. Но, как бы то ни было, с этой минуты для них началось блаженство. Целые дни проходили незаметно: они гуляли по полям, с лихорадочным трепетом читали и перечитывали, какие только были у них под рукой романы, которые им напоминали их собственные чувства, и, наконец, целовались и глядели по целым часам друг на друга. Они забыли о толках людей, о двусмысленности своего положения, об опасностях, о будущем. Один только человек стал нарушать счастье Эльчанинова, – это Савелий. С тех пор как выздоровела Анна Павловна, он непрестанно говорил своему приятелю о необходимости куда-нибудь уехать, об опасности со стороны Мановского, ко-

торый не остановится на этом. Но Эльчанинов никуда не мог тронуться с места: у него не было денег. Сначала он скрывал истинную причину от своего приятеля и старался выдумывать различные предлоги отложить отъезд. Наконец, должен был признаться откровенно. Лицо Савелья нахмурилось. В первый еще раз он увидел для любовников опасность с этой стороны. «При самом начале они нуждаются, – думал он, – но что же будет дальше?»

– Когда же у вас будут деньги? – спросил он Эльчанинова.

– У меня должны быть скоро небольшие... Впрочем, можно заложить имение, – отвечал Эльчанинов и солгал.

Имение было давно заложено. Кроме того, он имел еще долги, о которых, с тех пор как перестал видеть своих кредиторов, почти совершенно забыл.

– Ну, так поезжайте и заложите скорее, – говорил Савелий.

– Да, я поеду скоро, – отвечал Эльчанинов, чтоб что-нибудь сказать.

Анна Павловна не знала этих разговоров, которые происходили между друзьями, и только замечала, что Эльчанинов всякий раз, поговоривши с Савельем, становился скучным, но, впрочем, это проходило очень скоро.

Между тем время шло. Савелий по-прежнему настаивал об отъезде; Эльчанинов по-прежнему отыгрывался. Наконец, он, казалось, начал избегать оставаться вдвоем с своим приятелем, и всякий раз, когда это случалось, он или кликал слугу, или сам выходил из комнаты, или призывал Анну Павловну. Савелий замечал, хмурился и все-таки старался найти случай возобновить свои убеждения; но Эльчанинов был ловчее в этой игре: Савелью ни разу не случилось остаться наедине с ним.

Неожиданное обстоятельство несколько изменило порядок их жизни. Однажды, это было уже спустя два месяца, от графа привезли письмо. На конверте было написано: «Анне Павловне, в собственные руки». Оно было следующее:

«Милая моя Анна Павловна!

С прискорбием и радостью услышал я о постигшей вас участи и о перемене в вашей жизни. Не могу вас судить, потому что в глубине сердца оправдываю ваш поступок. Но за что же вы забыли меня? За что же вы поставили меня наряду с людьми, которые вам сделали много зла и желают еще сделать? Зачем же вы, отторгнувшись от них, отторглись и от меня? Я с этими людьми не разделяю и вообще мнений, а тем более мнения о вас. Я – старый друг вашего отца! Не от-

вергайте моей отеческой привязанности, которую питаю к вам. Может быть, она послужит вам в пользу, особенно в теперешних обстоятельствах. Приезжайте ко мне и приезжайте с ним! Я хочу видеть, достоин ли он любви вашей. Скажите ему, что я начинаю уже любить его, потому что он любим вами.

Остаюсь преданный вам
Граф Сапега».

Анна Павловна, прочитавши письмо, отдала его Эльчанинову. Оно ей было неприятно. Инстинкт женщины очень ясно говорил, что участие графа было не бескорыстное и не родственное, так что она не хотела было даже отвечать; но совершенно иными глазами взглянул на это Эльчанинов. Несмотря на то, что Анна Павловна пересказала ему еще прежде об объяснениях графа и об его предложениях, он обрадовался покровительству Сапеги, которое могло быть очень полезно в их положении, потому что хоть он и скрывал, но в душе ужасно боялся Задор-Мановского.

– Мне кажется, граф любит тебя просто, – сказал он, – иначе к чему бы ему предлагать при теперешних обстоятельствах свое участие?

Анна Павловна ничего не отвечала.

– Что ж мне написать к нему? – спросила она после минутного молчания.

– Поблагодарить и принять приглашение; я сам поеду с тобой, – отвечал Эльчанинов, решившийся, впрочем, никогда не отпускать Анну Павловну одну к графу, и тотчас же продиктовал ей ответ:

«Милостивый государь,
граф Юрий Петрович!

Благодарю вас за ваше участие. Бог вам заплатит за него! Я не забывала вас, я не отторгалась от вашей признательной дружбы; я помнила вас всегда, ценила и надеялась на вас, но не обращалась к вам потому, что только теперь еще едва поправляюсь от тяжелой болезни. Принимаю ваше приглашение и буду у вас с ним, когда вы прикажете; прошу только, чтобы нам не встретиться в вашем доме с кем-нибудь из соседей, так враждующих теперь против нас. Еще раз повторяя мою благодарность, имею честь пребывать обязанная вами и проч.»

Письмо это было запечатано и отдано посланному. Вскоре после того пришел Савелий. Эльчанинов на этот раз не избегал остаться с ним наедине. Савелий тотчас воспользовался удобным случаем.

– Наконец, я вас поймал, – сказал он. – Когда же вы, Валерьян Александрыч, поедете закладывать имение?

– Теперь, Савелий Никандрыч, не нужно ехать; оставаться здесь больше нет опасности.

– Как не нужно? Мановский живехонек; вчера видел: к Клеопатре Николаевне приезжал!

– Он может жить, сколько ему угодно; но дело в том, что сегодня граф прислал к нам письмо и советовал быть спокойными, обещая своим покровительством охранить нас от всего.

– Я не понимаю, каким манером он может охранить вас и особенно Анну Павловну от мужа.

– Ах, Савелий Никандрыч, как вы мало знаете жизнь! – вскричал Эльчанинов. – Богатый и знатный человек... Да чего он не может сделать! Знаете ли, что одного его слова достаточно, чтобы усмирить мужа и заставить его навсегда отказаться от жены.

– Мужа, хоть бы и какого-то ни было, вряд ли кто может заставить отказаться от жены, а уж Мановского и подавно! Вы, ей-богу, Валерьян Александрыч, очень уж как-то беспечны.

– Не беспечен я, а только лучше вас знаю людей и знаю, как они терпеливы к подобным проступкам.

– Так вы и не думаете уехать отсюда?

– Не вижу надобности.

– Валерьян Александрыч, уезжайте! – сказал умоляющим голосом Савелий. – Бога ради, уезжайте! Что такое вас удерживает?.. Неужели вам жаль денег?

При последних словах Эльчанинов вспыхнул.

– Я не дал вам, кажется, повода так думать обо мне.

Я рискую для этой женщины, оставаясь здесь, может быть, жизнью; так что тут значат деньги?

– Зачем же рисковать жизнью? Лучше уезжайте!..

Отчего же вы не едете?

– Невозможно!

– Отчего невозможно?

– Во-первых, оттого, что Анна Павловна больна, во-вторых... да я не вижу: какая будет польза, если мы уедем? Мановский, если захочет сделать зло, сделает везде: будем ли мы здесь, в Петербурге или Москве! Там еще более!.. Здесь по крайней мере есть покровитель!..

– Как это можно! В городе большая разница, – возразил Савелий. – Там вы будете у него не на глазах. Вы можете жить по разным домам!.. Будет подозрение, да улики, по крайности, не будет... А покровитель? Помните, что вы сами мне говорили об этом покровителе?

– Что ж такое?.. Это была ошибка с моей стороны. Я сам хорошо вижу, что граф ее любит как друг ее отца, тем больше, что он ей дальний родственник.

При этом слове Савелий только усмехнулся.

– Уезжайте, Валерьян Александрыч, – повторил он, – вы еще, видно, и не знаете, что может быть.

– Что ж может быть? – произнес Эльчанинов с поддельной беспечностью.

– А то может, что Мановский, говорят, хочет выписать тестя, да и приедет сюда с ним!.. Каково это будет для Анны Павловны? А не то, пожалуй, и к правительству обратится... Не скроешь этого дела.

При последних словах Эльчанинов побледнел.

– Я знаю, все знаю, – проговорил он, – но что ж мне делать, если я не имею, с чем мне теперь ехать.

– Поезжайте и заложите имение, а там поступите на службу.

– Но как я поеду? Как ее оставлю одну? Я не могу с нею расстаться. Это выше моих сил.

– Поезжайте вместе.

– Вместе? Но вместе... на это у меня просто не хватит денег, – сказал, совершенно растерявшись, Эльчанинов.

– Граф вам обещал покровительство; попросите у графа, – сказал Савелий.

– У графа? Никогда! Да он и не даст.

– Может, и даст!.. Вы сами говорите: он любит Анну Павловну и родственник ей. Вы объясните ему откровенно.

– Ни за что на свете, чтобы я унизил себя до того, чтобы у подобного господина стал ханжить денег! Ни за что! – произнес решительно Эльчанинов.

– Что ж тут за унижение? – возразил Савелий. – Не хотите только!.. Кабы я знал, я бы лучше отвез Анну Павловну в город к отцу протопопу знакомому... Он, может, подержал бы ее, пока она своему папеньке написала.

– Благодарю вас, что вы так меня понимаете, – сказал обиженным голосом Эльчанинов.

– Что мне вас понимать? Я человек простой, а вы образованный!.. Взял я только на свою душу грех!..

– Очень сожалею, что приняли для меня на свою душу грех, – сказал Эльчанинов, начинавший уже окончательно выходить из терпения.

Приход Анны Павловны прекратил их разговор.

Дня через четыре граф прислал человека с письмом, в котором в тот же день приглашал их к себе и уведомлял, что он весь день будет один. Часу в двенадцатом Анна Павловна, к соблазну всех соседей, выехала с Эльчаниновым, как бы с мужем, в одной коляске.

– Я встретил сейчас новобрачных! – сказал исправник губернскому предводителю, приехавши к нему и повстречавши действительно наших любовников.

– Каких новобрачных? – спросил тот.

– Эльчанинова с Мановской.

– Неужели они обвенчались?

– Нет-с, я шучу, – сказал исправник. – Только едут

вдвоем и поворотили в Каменки.

– Господи, твоя воля! – сказал предводитель. – Что это такое делается!.. Этакая бесстыдница!..

– Да, ваше превосходительство, нечего сказать, еще и не бывало такой!.. Что-то Мановский?

– Бог его знает, сидит, – сказал предводитель.

– Да уж он что-нибудь и высидит, – заметил исправник.

– Но мне всех тут страннее граф, – продолжал предводитель, – то он действует так, то иначе.

– Непонятно, – подхватил исправник.

Одно и то же почти говорили во всех домах, с тою только разницею, что мужчины старались больше понять и разгадать, а дамы просто бранили Анну Павловну, объясняя все тем, что она женщина без всяких правил.

Между тем граф часу в первом пополудни был по-прежнему в своей гостиной: хотя туалет его был все так же изыскан, но он, казалось, в этот раз был в более спокойном состоянии духа, чем перед первым визитом Анны Павловны: он не ходил по комнате тревожными шагами, не заглядывал в окно, а спокойно сидел на диване, и перед ним лежала раскрытая книга. Ивана Александрыча не было около него. Граф прогнал его вскоре после того, как он произвел кутерьму у Задор-Мановского, чтобы отклонить от себя

всякое подозрение насчет участия в открытии тайны. Бедный племянник скрывал это от всех и притворился больным. Вошедший слуга доложил о приезде Анны Павловны и Эльчанинова.

– Просить! – сказал граф и привстал с дивана.

Анна Павловна вошла первая, а за нею Эльчанинов.

– Здравствуйте, гордая Анна Павловна! – сказал граф. – Нет, я опять за старое, поцелуйте!

Анна Павловна повиновалась.

– Здравствуйте и вы, тоже гордый молодой человек, – прибавил он, протягивая Эльчанинову руку, которую тот принял с некоторым волнением: ему было как-то совестно своего положения.

– Здоровы ли вы?.. Поспокойнее ли? – спросил граф Анну Павловну, усадивши ее на диване.

Эльчанинов сел поодаль.

– Я здорова, граф, – отвечала она.

– Вас я не спрашиваю, – продолжал Сапега, обращаясь к Эльчанинову, – вы должны быть здоровы, потому что счастливы. Сядьте к нам поближе.

Эльчанинов пересел на ближнее кресло.

– Вы давно живете в деревне? – спросил его граф.

– Полгода, ваше сиятельство, – отвечал Эльчанинов.

– Только полгода? – повторил граф, посмотревши

на Анну Павловну. – А где вы жили?

– В Москве.

– Служили там?

– Сначала учился в университете, а потом служил.

– А!.. – произнес протяжно граф и потом, как бы сам с собою, прибавил. – В Москве собственно службы для молодых людей нет.

– Кажется, или по крайней мере я это на себе очень чувствовал, – подхватил Эльчанинов. – Меня сделали сверхштатным писцом, тогда как я и сносного почерка не имею.

Граф с улыбкой покачал головой.

– Вы, вероятно, не имели никаких связей, – произнес он совершенно равнодушным голосом.

– Решительно никаких, ваше сиятельство, кроме добросовестного желания трудиться, – отвечал Эльчанинов.

– Бог даст, вам и придет это время трудиться, а теперь покуда мы вас не отпустим на службу; живите здесь, в деревне, честолюбие отложите в сторону, вам весело и без службы.

– Мне надобно бы служить, граф, хоть затем, чтобы уехать отсюда.

– Да, я понимаю, что вы хотите сказать, – проговорил Сапега, – но я думаю, что я так люблю Анну Павловну и что покуда я здесь, то зорко буду следить за

ее спокойствием; а там, бог даст, переедем и в Петербург, где я тоже имею некоторую возможность устроить вас.

Будь другой человек на месте Эльчанинова, он бы, может, понял, на что бил граф; он бы понял, что Сапега с намерением будил в нем давно уснувшее честолюбие; он бы понял, что тот хочет его удержать при себе, покуда сам будет жить в деревне, а потом увезти вместе с Анной Павловной в Петербург. Но – увы! – Эльчанинову только мелькнула богатая перспектива, которую может открыть ему покровительство такого человека, каков был граф. В первый раз еще мой герой вспомнил о службе, о возможности жить ею в Петербурге вместе с Анной Павловной и привязался к этой мысли.

– Мне очень нужно служить, ваше сиятельство, – сказал он.

– Увидим, увидим, – отвечал граф. – Не помешает ли еще нам Анна Павловна? Мы еще ее не спрашивали, да и не будем спрашивать покуда.

Во весь остальной день Сапега, бывши очень ласков с Анною Павловной, много говорил с Эльчаниновым и говорил о серьезных предметах. Он рассказывал, между прочим, как много в настоящее время молодых людей единственно посредством службы вышло в зять и составляют теперь почти главных де-

ятелей по разным отраслям государственного управления. Так прошел целый день. Молодые люди уехали после ужина.

Граф сделал более, чем предполагал. Услышавши о страшной развязке, которою кончилось объяснение Ивана Александрыча с Мановским, и о бегстве Анны Павловны к Эльчанинову, Сапега, удивленный этим, еще более раздражился. Старческая прихоть превратилась в страсть; но в то же время он видел, что действовать решительно нельзя, а надобно ожидать от времени. Привязать к себе участием молодых людей, гонимых всеми, казалось ему первым шагом, а там возбудить в душе молодого человека другую страсть – честолюбия, которая, по мнению его, должна была вытеснить все другие. Оставленная мужем, забытая любовником, Анна Павловна не могла уйти от него; Мановского он боялся и не боялся, как бояться и не бояться медведей. Но, однако, мы заметим, что граф выждал целый месяц войти в прямые сношения с молодыми людьми и в продолжение этого времени только хвалил и защищал Анну Павловну; но Мановский ни к чему не приступал, и граф начал.

II

Прошло еще три месяца. Действующие лица моего рассказа оставались в прежнем положении. Анна Павловна все так же жила у Эльчанинова; граф приглашал их к себе и сам к ним ездил; Мановский молчал и бывал только у Клеопатры Николаевны, к которой поэтому все и адресовались с вопросами, но вдова говорила, что она не знает ничего. Более любопытные даже приезжали к ней в усадьбу, чтобы посмотреть на оставленного мужа, но им никогда не удавалось встретить Мановского, хотя очи и слышали, что в этот самый день он проезжал в Ярцово.

У предводителя назначен был обед. Общество было прежнее, за исключением Мановского и Эльчанинова. Клеопатра Николаевна сидела на диване между Уситковой и Симановской. Перед ними стоял исправник. Прочие дамы сидели на креслах. Мужчины стояли и ходили. Все ожидали графа.

– Давно ли вы видели вашего несчастного опекуна? – спросил исправник Клеопатру Николаевну.

– Он был вчера у меня, – отвечала Клеопатра Николаевна. – Почему же несчастного? – прибавила она.

– Да как же? Жену отняли! – возразил исправник.

– Он, кажется, забыл об ней и думать; впрочем, я с

ним никогда об этом не говорю.

– Я ее встретил, – сказал исправник, – пополнила, такая хорошенькая.

– Желаю ей, – отвечала с презрением вдова, – все подобные ей – хорошенькие, и вам, мужчинам, обыкновенно нравятся.

– Оно лучше; а то что толку, например, в вас, Клеопатра Николаевна? Ни богу, ни людям! – заметил с усмешкою исправник, немного волокита по характеру и некогда тоже ухаживавший за Клеопатрою Николаевною, но не успевший и теперь слегка подсмеивающийся над ней.

– Пожалуйста, избавьте меня от таких сравнений, – отвечала вдова обиженным тоном.

– Я вас не смею и сравнивать, – сказал исправник.

– Граф едет! – произнес громко Уситков, уже давно смотревший в окно.

При этом известии мужчины встали; дамы начали поправляться и сели попрямее; на всех лицах было небольшое волнение. Одна только Клеопатра Николаевна не увлеклась этим общим движением и еще небрежнее развалилась на диване. Хозяин был в наугольной. Услышав о прибытии графа, он проворно пробежал гостиную и, вышедши в залу, остановился недалеко от дверей из лакейской. За ним последовали почти все мужчины. Граф быстро, но гордо про-

шел залу, приветствовал хозяина, поклонился на обе стороны мужчинам и вошел в гостиную. Казалось, это был другой человек, а не тот, которого мы видели в его домашнем быту, при посещении Анны Павловны и даже при собственном его визите Мановскому. На лице его, бывшем тогда приветливым и радушным, написана была теперь важная холодность. Он сделал общий поклон дамам и, сопровождаемый хозяином, пошел к дивану. Две звезды светились на его фраке. Уситкова проворно вскочила, чтоб уступить ему свое место.

– Не беспокойтесь, сударыня, – сказал граф, вежливо поклонившись, и сел на пустое кресло, стоявшее у того конца дивана, где сидела Клеопатра Николаевна.

Вдова сделала движение, чтобы повернуться к нему лицом; она еще в первый раз видела графа. Хозяин и несколько мужчин стояли на ногах перед Сапегую.

– Как здоровье вашего сиятельства? – спросил хозяин.

– Благодарю вас, я здоров, только скучаю.

– Что мудреного, ваше сиятельство, после Петербурга, – заметил Уситков, – вот наше дело привычное, да и тут...

– Меня не любят здешние дамы! – прибавил граф,

искоса взглянув на вдову. – Ни одна из них не посетила меня.

– Дамы, вероятно, боятся обеспокоить вас, граф, – сказала с жеманною улыбкою вдова.

– В том числе и вы, сударыня? – спросил Сапега.

– Я не имею чести быть знакома с вами, граф, – отвечала Клеопатра Николаевна, приподняв с гордостью голову.

Графу, видимо, понравился тон этого ответа.

– Так позвольте же мне завтрашний день устранить это препятствие и сделать вам визит.

– Много обяжете, граф.

– Ваш супруг?

– Я вдова и потому боюсь, что вам скучно будет у меня.

– Вы позволили мне быть у вас? – сказал граф с легким наклоном головы.

Вдова отвечала улыбкою: она торжествовала.

После этого легкого разговора граф встал и пошел к балкону, чтобы рассмотреть окружные виды. Лицо его, одушевившееся несколько при разговоре с Клеопатрою Николаевною, сделалось по-прежнему важно и холодно. Вслед за ним потянулись мужчины; граф начал разговаривать с хозяином.

– Мне говорили, что он совершенный старик! – сказала Клеопатра Николаевна Симановской.

– Какой же старик; я вам говорила, – отвечала та, – теперь еще что? А посмотрели бы вы на него у Мановских.

Вдова сделала гримасу.

– Каждый мужчина с подобными женщинами бывает любезнее, потому что они сами вызывают их на то, – сказала она с презрительною улыбкою.

В это время в гостиную вошел высокий мужчина. Удивление и любопытство показалось на всех лицах. Это был Задор-Мановский. Он прямо подошел к хозяину, отдал вежливый поклон графу, на который Сапега отвечал сухо, потом, поклонившись дамам, подал некоторым мужчинам руку и начал с ними обыкновенный разговор. При его приходе Клеопатра Николаевна несколько изменилась в лице; физиономия графа сделалась еще важнее и серьезнее. Что касается до хозяина и прочих гостей, то они чувствовали некоторый страх и не знали, как себя держать. Оказать внимание Мановскому? Но как покажется это графу, который называл его мерзавцем и покровительствовал его жене. Не замечать Мановского они не могли, потому что чувствовали к нему невольное уважение; кроме того, им хотелось поговорить с ним и, если возможно, выведать, что у него на душе, тем более, что все заметили перемену в лице Мановского. Он как будто бы постарел, обрюзг и похудел. Недоумевая таким

образом, все, однакож, были суше обыкновенного с Михайлом Егорычем; но он как бы не замечал этого и, поговоря с мужчинами, подошел к дамам, спросил некоторых о здоровье и сел около Клеопатры Николаевны, которая опять несколько сконфузилась.

– Поздравьте меня, Михайло Егорыч, – сказала она, – ко мне завтра будет граф.

– Зачем? – спросил Мановский, взглянувши пристально на вдову.

– Сам напросился.

– Знаю я, как он напросился, – сказал Михайло Егорыч, насупившись. – Мне бы нужно переговорить с Алексеем Михалычем, – продолжал он, помолчав.

– С дядей?

– Да.

– О чем?

– Черт знает, – говорил Мановский, не отвечая на вопросы Клеопатры Николаевны, – никогда нельзя приехать по делу: вечно полон дом сволочи... Где его кабинет?

– Из коридора первая комната, стеклянные двери.

– Там никого нет?

– Я думаю.

– Я теперь пойду туда, позовите его ко мне; я ему имею кой-что сказать.

Проговоря это, Мановский встал и ушел.

– О чем это с вами говорил Михайло Егорыч? – спросила Клеопатру Николаевну Симановская, давно уже обмиравшая от любопытства.

– Все по этой проклятой опеке, – отвечала вдова.

– А о жене ничего не говорил?

– Отвяжитесь вы, бога ради, с этой женой, – отвечала Клеопатра Николаевна, которая после разговора с Мановским была не в духе.

– Ах, как интересно знать, что он думает о жене, – произнесла Симановская.

– Спросите его сами.

– Сохрани бог!

– Напрасно, я бы советовала...

– Я могу обойтись и без ваших советов! – возразила, вспыхнувши от досады, Симановская, и затем обе дамы замолчали. Клеопатра Николаевна, посидев немного, вышла в диванную и прошла в девичью, где, поздоровавшись с целою дюжиною горничных девушек и справившись, что теперь они работают, объявила им, что она своими горничными очень довольна и что на прошлой неделе купила им всем на платье прехорошенькой холстинки. После того она снова вернулась в гостиную и, подошедши к дяде, который с глубоким вниманием слушал графа, ударила его потихоньку по плечу. Старик обернулся.

– Вас спрашивают, mon oncle!¹⁴

– Зачем, душа моя?

– Нужно-с.

Старик, извинившись перед графом, пошел было в диванную.

– В кабинет, mon oncle.

– Завертела ты меня, – говорил старик, повернувшись.

– Я люблю командовать! – проговорила, как бы ни к кому собственно не обращаясь, Клеопатра Николаевна.

– Право? – спросил граф, весьма хорошо понявший, что эта фраза сказана была собственно для него.

– Очень... Однако я у вас отняла слушателя, позвольте мне занять его место, – сказала Клеопатра Николаевна, вставая на место дяди.

– Вы очень снисходительны, сударыня, – сказал граф с улыбкою, – мы говорили о весьма скучном для молодой дамы предмете.

– О каком же это?

– О хозяйстве.

– Ах, боже мой! Я очень люблю сельское хозяйство, хочу даже у себя сделать эту шестипольную систему. Это очень удобно и выгодно. – Клеопатра Николаевна

¹⁴ дядя! (франц.).

на, видимо, хотела похвастать перед графом своими агрономическими сведениями.

– Ба!.. Да вы большая агрономка, – сказал граф.

– Нет! Я только деревенская жительница.

– У Клеопатры Николаевны всегда родится прекрасный хлеб! – заметил Уситков.

– Это в новом вкусе, – заметил граф, – молодая, прекрасная и – образованная хозяйка.

– Благодарю, граф, за насмешку.

– Почему ж такая недоверчивость к моим словам?

– Недоверчивость?.. – повторила с довольно милой гримасой вдова. – Мужчинам нельзя доверять не только в важных вещах, но даже и в пустяках.

– Я принадлежу к старому поколению.

– Это все равно: никому нельзя доверять, и я одному только человеку в жизнь мою верила.

– А именно?

– Моему мужу.

– А теперь?

– А теперь никому не верю, не верила и не буду верить.

– Это ужасно!

– Ничего нет ужасного!.. «Я мертвецу святыней слова обречена!»¹⁵ – произнесла с полунасмешкою Клео-

¹⁵ «Я мертвецу святыней слова обречена!» – искаженные строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Любовь мертвеца».

патра Николаевна и хотела еще что-то продолжать, но в это время вошел хозяин с озабоченным и сконфуженным лицом. Он значительно посмотрел на Клеопатру Николаевну и подошел к графу.

– Вы не dokonчили вашей мысли, – сказал Сапега замолчавшей Клеопатре Николаевне.

– Нет, я все сказала, – отвечала та, взглянув искоса в залу и увидев входящего Мановского. – Теперь мое место опять займет дядюшка.

С этими словами Клеопатра Николаевна отошла, села на прежнее место и начала разговаривать с Уситковой. Михайло Егорыч подошел к толпе мужчин, окружавшей графа, и, казалось, хотел принять участие в разговоре. Но Сапега отошел и сел около дам. Он много шутил, заговаривая по преимуществу с Клеопатрой Николаевной, которая, впрочем, была как-то не в духе. Мановский уехал, поклонясь хозяину и графу и сказав что-то на ухо Клеопатре Николаевне. Вдова, по отъезде его, сделалась гораздо веселее и любезнее и сама начала заговаривать с графом, и вечером, когда уже солнце начало садиться и общество вышло в сад гулять, граф и Клеопатра Николаевна стали ходить вдвоем по одной из отдаленных аллей.

– Отчего вы нам, граф, не дадите бала? – сказала она.

– У меня нет хозяйки! – возразил граф.

– Ах, боже мой! Каждая из нас готова с радостью принять на себя эту обязанность.

– Например, если я вас попрошу?

– С большим удовольствием, только сумею ли?

Впрочем, вы меня научите.

– Я буду сам вас слушаться.

– Желала бы хоть ненадолго повелевать вами.

– Скоро соскучитесь; старики, как дети, скоро надоедают.

– Их не надобно дразнить.

– А каким образом вы это сделаете? – спросил граф.

– Очень просто: надобно их, как и детей, то пожурить, то приласкать, – отвечала вдова.

– Вы опасная для стариков женщина! – проговорил Сапега.

– И они для меня опасны!

– Желал бы убедиться в том.

– Испытайте. Но, впрочем, вам невозможно, вы не старик! – объяснила Клеопатра Николаевна.

Граф посмотрел на нее: не совсем скромное и хорошего тона кокетство ее, благодаря красивой наружности, начинало ему нравиться. В подобных разговорах день кончился. Граф уехал поздно. Он говорил по большей части со вдовой. Предпочтение, которое оказал Сапега Клеопатре Николаевне, не обидело и

не удивило прочих дам, как случилось это после оказанного им внимания Анне Павловне. Все давно привыкли сознать превосходство вдовы. Она уехала вскоре после графа, мечтая о завтрашнем его визите.

Хозяин после разговора с Мановским был целый день чем-то озабочен. Часа в два гости все разъехались, остался один только исправник.

– Вы, Алексей Михайлыч, изволите сегодня быть как будто расстроены! – сказал он, видя, что предводитель сидел, потупя голову.

– Будешь расстроен, – отвечал старик, – неприятность на неприятности.

– Что такое глумилось?

– Как что? Видели, сокол-то приезжал.

– Какой?

– Мановский, господи боже! Что это за человек!

– Да что такое? – повторил исправник, сильно заинтересованный.

– Просит у меня... да вы, пожалуйста, никому не говорите... просит, дай ему удостоверение в дурном поведении жены. Хочет производить формальное следствие и хлопотать о разводе. Вы, говорит, предводитель, должны знать домашнюю жизнь помещиков! А я... бог их знает, что у них там такое!.. Она мне ничего не сделала.

– Как же вы намерены поступить?

– Сам не знаю; теперь покуда отделался, сказал, что даже и не слыхал ничего; так, говорит, сделайте дознание. Что прикажешь делать! Придется дать. Всем известно, что она живет у Эльчанинова; так и напишу, что действительно живет, а в каких отношениях – не знаю.

– Да, так и напишите, что точно живет, а как – неизвестно.

– Оно так, да все кляузы.

– Конечно, кляузы, и кляузы неприятные; а мы вот, ваше превосходительство, земская полиция, век живем на эдаких кляузах.

– И не говорите уж лучше! – подтвердил добродушно старик.

III

В Коровине тоже происходили своего рода сцены. Эльчанинов после поездки к графу сделался задумчивее и рассеяннее против прежнего. Казалось, какая-то мысль занимала его. Он не говорил уже беспрестанно с Анной Павловной и часто не отвечал даже на ее ласки. С Савельем он был как-то сух и по-прежнему избегал оставаться с ним наедине. Впрочем, тот однажды нашел случай и спросил его: придумал ли он какое-нибудь средство уехать, но Эльчанинов, рассказав очень подробно весь свой разговор с графом, решительно объявил, что он без воли Сапеги ничего не хочет делать и во всем полагается на его советы. После этого Савелий перестал говорить и только иногда долго и долго смотрел на Анну Павловну каким-то странным взглядом, потом вдруг опускал глаза и тотчас после того уходил. Посещения его стали реже, но продолжительнее; как будто бы ему было тяжело прийти, а пришедши – трудно уйти.

Анна Павловна начала замечать перемену в Эльчанинове. Сперва она думала, что он болен, и беспрестанно спрашивала, каково он себя чувствует. Эльчанинов клялся, божился, что он здоров, и после того старался быть веселым, но потом вскоре впадал

опять в рассеянность. Мой герой думал о службе.

Жизнь в столице, – обширное поле деятельности, наконец, богатство и почти несомненная надежда достигнуть всего этого через покровительство знатного человека, – вот что занимало его теперь. Любовь, не представлявшая ничего рельефного, ничего выпуклого, что обыкновенно действует на характеры впечатлительные, но не глубокие, не могла уже увлекать Эльчанинова; он был слишком еще молод да и по натуре вряд ли способен к семейной жизни. Ему хотелось перемен, новых впечатлений, и он думал, что все это может доставить ему служба, и думал о том беспрестанно. Были даже минуты, когда ему приходило в голову, что как бы было хорошо, если бы он был совершенно свободен – не связан с этой женщиною; как бы мог он воспользоваться покровительством графа, который мог ему доставить место при посольстве; он поехал бы за границу, сделался бы секретарем посольства, и так далее... Увлечшись, он начинал верить, что Сапега оказывает ему ласки и обещает покровительство за личные его достоинства. В этой мысли поддерживал его сам граф, который, бывши с ним весьма любезен, постоянно и тонко намекал на его необыкновенные способности и жалел только о том, что подобный ему молодой человек не служит и даром губит свой век. Эльчанинов очень ча-

сто ездил в Каменки и каждый раз возвращался погруженный в самого себя.

Когда Анна Павловна убедилась, что Эльчанинов здоров, вдруг страшная мысль, что он разлюбил ее, пришла ей в голову. Ей представилось, что он тяготеет ею, он, единственный человек, который остался у ней в мире. Это было выше сил. Она хотела молиться, чтобы хоть несколько облегчить свои муки, и не могла. О, как эти страдания далеко превосходили все прежние! Ее опять не любит близкий человек, и какой близкий, которого она сама страстно любила, привязанность к которому наполняла все ее сердце. Он, может быть, не позволит ей любить себя. Ее ласки будут ему в тягость. Он бросит ее одну, без имени, без средств, – и что будет тогда с нею? Целую ночь она протрадала и проплакала и, проснувшись, была так худа и бледна, как бы после тяжелой болезни. Эльчанинов заметил это.

– Что с тобою, Анета? – спросил он.

– Я дурно спала, – отвечала Анна Павловна слабым голосом.

– Ты на себя непохожа, – продолжал Эльчанинов, глядя в лицо. – Что с тобою?

– Я ночью думала: что если ты меня разлюбишь, покинешь?..

– К чему эти мысли, ангел мой?.. Я люблю тебя и бу-

ду любить! – отвечал довольно холодно Эльчанинов.

Анна Павловна не могла долее скрывать мучительной для нее мысли. В невыносимом волнении упала она головой на колени Эльчанинова и зарыдала.

– О, не покидай меня! – вскричала она. – Я вижу, ты скучаешь со мною?.. Я тебе в тягость?.. Ты разлюбил меня?..

Этого сильного движения отчаяния и мольбы, которые сверх обыкновения обнаружила Анна Павловна, слишком было достаточно, чтобы снова хоть на некоторое время возбудить в Эльчанинове остывающую страсть. Он схватил ее в объятия.

– Мне разлюбить тебя! Когда моя жизнь, мои надежды, вся моя будущность сосредоточены в тебе! Оттолкнуть тебя!.. О господи!.. Скорей я сделаюсь самоубийцею!.. Anette! Anette! И ты могла подумать?.. Это горько и обидно!.. Откуда пришли тебе эти черные мысли?..

– Ты был все это время печален и задумчив! – говорила, несколько успокоившись, молодая женщина.

– Задумчив?.. Да знаешь ли ты, о чем я думал? – начал Эльчанинов. – Я думал о тебе, о твоей будущности, думал, как бы окружить тебя всеми удобствами, всеми благами жизни, думал сделать себя достойным тех надежд, которые ты питаешь ко мне. А ты меня ревнуешь к этим мыслям?.. Это горько и обидно! –

И он снова обнял ее и посадил с собою на диван.

– Прости меня, – сказала Анна Павловна, – ты был задумчив, и я подумала...

– Подумала... Вот как вы, женщины, дурно знаете нас. Но ты не должна быть похожа на других. Наша любовь ни с кем ничего не должна иметь общего: из любви ко мне ты должна мне верить и надеяться; из любви к тебе я буду работать, буду трудиться. Вот какова должна быть любовь наша!

Говоря это, Эльчанинов не лгал ни слова, и в эти минуты он действительно так думал; в голосе его было столько неотразимой убедительности, что Анна Павловна сразу ему поверила и успокоилась. Во весь остальной день он не задумывался и говорил с нею. Он рассказывал ей все свои надежды; с восторгом описывал жизнь, которую он намерен был повести с нею в Петербурге. Вечером пришел Савелий. Лицо его было мрачнее обыкновенного; он молча поклонился и сел.

– На меня сегодня поутру рассердилась Анна Павловна, – сказал Эльчанинов.

Савелий посмотрел на Мановскую.

– За что-с? – спросил он.

– За то, что я иногда задумывался.

Савелий ничего на это не сказал.

– Тогда как, – продолжал Эльчанинов, как бы стара-

ьясь оправдаться перед приятелем, – я и задумывался о ней самой, об ее будущности.

– Что же вы думали об их будущности? – сказал Савелий и потупился.

Эльчанинов несколько замялся; впрочем, после минутного размышления, он начал:

– Во-первых, я думал о моей службе в Петербурге. Я буду получать две тысячи рублей серебром, это верно, – граф сказал. И если к этому прибавить мои тысячу рублей серебром, значит, я буду иметь три тысячи рублей – сумма весьма достаточная, чтобы жить вдвоем.

Что-то вроде улыбки пробежало по лицу Савелья, но Эльчанинов, увлеченный своею мыслью и потому ничего уже не замечавший, что вокруг него происходило, продолжал.

– Как это будет хорошо! – воскликнул он. – А тут, бог даст, – прибавил он, обращаясь к Савелью, – и вы, мой друг Савелий Никандрыч, переедете к нам в Петербург. Мы вам отведем особую комнату и найдем приличную службу. Что, черт возьми, губить свой век в деревне?.. Дай-ка вам дорогу с вашим умом, как вы далеко уйдете.

Савелий опять ничего не отвечал. Видимо, что ему было даже досадно слушать этот вздор.

– Мне бы с вами надобно переговорить, Валерьян

Александрыч! – сказал он после минутного молчания и сам встал.

– Что такое? – спросил Эльчанинов, уже нахмурившись.

– По одному моему делу, – отвечал Савелий, показывая головой на зало.

«Ну, старые песни», – подумал Эльчанинов, и оба приятеля вышли.

– Вчера я был на почте, – начал Савелий, – и встретил там человека Мановского. Он получил письмо с черною печатью. Я, признаться сказать, попросил мне показать. На конверте написано, что из Кременчуга, а там живет папенька Анны Павловны. Я боюсь, не умер ли он?

– Если он и умер, я в этом совершенно не виноват. Что же мне делать? – отвечал Эльчанинов, пожав плечами.

– Вы прикажите по крайней мере, чтобы оно не дошло как-нибудь до Анны Павловны.

– Дойти до Анны Павловны оно никоим образом не может. Я давно так распорядился, чтобы собаки из Могилок сюда не пускали.

– Да вы ведь так только это говорите! А тут смотришь... – проговорил Савелий и, не докончив фразы, ушел вскоре домой.

– О чем с тобою по секрету говорил Савелий Ни-

кандрыч? – спросила Анна Павловна.

– Хлеба у меня займы просил; бедняк ведь он ужасный! – отвечал Эльчанинов.

– Он очень добрый и хороший человек, – сказала Анна Павловна.

– О, это идеал честности и благородства! – отвечал Эльчанинов и потом, обняв и прижав к груди Анну Павловну, начал ей снова говорить о службе, о петербургской жизни.

Анна Павловна тоже была счастлива, потому что единственный друг ее любил ее по-прежнему.

Проснувшись на другой день, Эльчанинов совершенно забыл слова Савелья о каком-то письме и поехал в двенадцать часов к графу. Анна Павловна, всегда скучавшая в отсутствие его, напрасно принималась читать книги, ей было грустно. В целом доме она была одна: прислуга благодаря неаккуратности Эльчанинова не имела привычки сидеть в комнатах и преблагополучно проводила время в перебранках и в разговорах по избам. Кашель и шаги в зале вывели Анну Павловну из задумчивости.

– Кто там? – спросила она. Вместо ответа послышались снова шаги. Анна Павловна вышла.

– Здравствуйте, матушка Анна Павловна! Еще привел бог вас видеть, – говорил могилковский Сенька, подходя к руке ее.

Анна Павловна вся побледнела.

– Что тебе надобно? – сказала она испуганным голосом.

– Барин прислал вам письмо, – отвечал Сенька я подал ей большой конверт.

– От кого? – говорила Анна Павловна, принимая дрожащими руками конверт.

– Не знаю, сударыня-матушка, вчерась я барину привез с почты, не знаю.

– Благодарю, – сказала Мановская, стараясь скрыть беспокойство. – Вот тебе, – продолжала она, взяв синенькую бумажку из брошенного бумажника Эльчанинова, – вот тебе.

Сенька взял ассигнацию, поклонился и ушел. Анна Павловна вошла в гостиную. Тайное предчувствие говорило ей, что письмо было для нее роковое. Она едва имела силы разломить печать. Из конверта выпали два письма. Одно из них было от мужа, другое написано женской рукой. Анна Павловна схватила последнее и быстро пробежала глазами, но болезненный стон прервал ее чтение, и она без чувств упала на пол, и долго ли бы пробыла в этом положении, неизвестно, если бы Эльчанинов не вернулся домой. Увидев Анну Павловну одну без чувств, он сначала не мог сообразить, что такое случилось, и стал кликать людей. Старуха-ключница, прибежавшая на его

зов, переложив бесчувственную Анну Павловну на постель и стала на нее брызгать водою с камушка, думая, что барыню кто-нибудь изурочил. Эльчанинов, как полоумный, вошел в гостиную. Ему попались на глаза письма. Вспомнив тут о предостережениях Савелья, он схватил их и прочитал.

– Лев просыпается! – воскликнул он, схватив себя за голову.

Лев действительно начинал просыпаться. Одно письмо было его руки и такого содержания:

«Посылаю вам, милостивая государыня, письмо вашей тетки, извещающее о смерти вашего отца, которая последовала сейчас же по получении им известия о побеге вашем в настоящее местожительство ваше.

Остаюсь известный вам
Задор-Мановский».

Теткино письмо было следующее:

«Почтеннейший Михайло Егорыч!

Ужасное известие ваше о побеге от вас недостойной моей племянницы мы получили, и бедный Павел Петрович, не в состоянии будучи вынести посрамления чести своей фамилии, получил паралич и одно-

часно скончался. Я и прочие родные навсегда отказываемся от дочери почтенного Павла Петровича, который лежит теперь спокойно в сырой земле. Не могу вам описать, в какую повержена я горесть. Теперь жду из гимназии племянников; за ними я тотчас же послала после смерти их родителя. Похороны справили, как следует, хоть и пришлось занять. После покойного осталось всего 15 руб.; а один покров стоил полтора. Не забывайте нас и не поможете ли нам чемнибудь.

Остаюсь с почтением тетка ваша
Марья Кронштейн».

Прошло полчаса. Анна Павловна начинала приходить в чувство, а Эльчанинов все еще продолжал бесноваться. Сидя в гостиной, он рвал на себе волосы, проклинал себя и Мановского, хотел даже разбить себе голову об ручку дивана, потом отложил это намерение до того времени, когда Анна Павловна умрет; затем, несколько успокоившись, заглянул в спальню больной и, видя, что она открыла уже глаза, махнул ей только рукой, чтоб она не тревожилась, а сам воротился в гостиную и лег на диван. Через несколько минут он спросил себе трубку, крикнув при этом довольно громко, и снова начал думать о петербургской жизни и о службе при посольстве.

IV

На другой день после предводительского обеда, часу в первом, Сапега, в богатой венской коляске, шестериком, ехал в Ярцево с визитом к Клеопатре Николаевне. Он был в очень хорошем расположении духа. Он видел прямую возможность приволокнуться за очень милою дамой, в которой заметил важное, по его понятиям, женское достоинство – эластичность тела.

Клеопатра Николаевна встретила графа в зале и ввела его в гостиную. На тех же самых широких креслах, как и при посещении Эльчанинова, сидел Задор-Мановский. При входе графа он встал, поклонился и опять сел на прежнее место. Гость и хозяйка уселись на диване. Граф начал разговор о бале, который намерен был дать и на котором Клеопатре Николаевне предстояло быть хозяйкою. Он думал этим вызвать вдову на любезность, но Клеопатра Николаевна конфузилась, мешалась в словах и не отвечала на вопросы, а между тем была очень интересна: полуоткрытые руки ее из-под широких рукавов капота блестели белизной; глаза ее были подернуты какою-то масляною и мягкою влагою; кроме того, полная грудь вдовы, как грудь совершенно развившейся тридцатилетней женщины, покрытая легкими кисейными складками, тоже

производила свое впечатление. Граф начинал таять. Задор-Мановский, ни слова не проговоривший, но в то же время, кажется, внимательно следивший за гостем и хозяйкой, вдруг встал и взялся за картуз.

– Куда же? – спросила с живостью Клеопатра Николаевна.

– Домой! – отвечал Мановский.

В лице его было видно что-то вроде улыбки.

– Посидите, – проговорила вдова.

Мановский, не отвечая, поклонился графу и вышел.

Клеопатра Николаевна как будто ожила.

– Слава богу! – сказала она, не могши удержать радостного движения.

– Как я рад, что вы разделяете со мною одно чувство к этому человеку! – заметил Сапега.

– Ах, да... – произнесла Клеопатра Николаевна, – я до того его ненавижу, что не могу ни думать, ни говорить ничего при нем.

– Зачем же вы принимаете его? – сказал граф, взглянув пристально на вдову.

– Он опекун моей дочери, – отвечала Клеопатра Николаевна.

– Обожатель вши! – прибавил граф с улыбкой.

– *Fi donc!*¹⁶ – вскричала вдова. – Он не смеет этого и подумать. Забудемте его. Я еще не поблагодарила

¹⁶ Фи! (франц.).

вас за ваше посещение.

– Готов с вами забыть всех, кроме вас! – отвечал Сапега.

– Не льстите, граф, а то я не стану верить вашим словам.

– Одному слову только поверьте.

– Какому?

– Вы прекрасны.

Вдова жеманно опустила голову.

– Верите? – спросил граф.

– К чему вы это говорите? – сказала Клеопатра Николаевна.

– Сердце заставляет говорить меня.

Вдова сделала кокетливую гримасу.

– Знаете ли, какую горькую истину я скажу вам про ваше сердце? Оно влюбчиво, – проговорила она внушительным тоном.

– Да, это была бы правда, если бы все женщины походили на вас.

– А разве Мановская похожа на меня?

Граф немножко смешался.

– Что ж Мановская? – проговорил он. – Я покровительствую ей, и больше ничего.

– А из чего вы ей покровительствуете?

– Боже мой! Она дочь моего старого друга, – сказал граф совершенно невинным голосом.

– Желала бы верить, – проговорила Клеопатра Николаевна после нескольких минут молчания.

– О, верьте, верьте мне во всем! – подхватил Сапега.

– В чем еще? – спросила вдова, как бы удивленная.

– В то, что я вас люблю, – прошептал старик, прижимая руку к сердцу.

Клеопатра Николаевна вздрогнула.

– Меня, граф? – повторила она, как бы совершенно растерявшись. – Что вы это говорите?.. К чему вы это говорите?.. Вы, меня?.. Так скоро?.. Нет, граф, это невозможно!..

– Люблю вас! – воскликнул Сапега и, сразу схватив Клеопатру Николаевну за руки, начал их целовать и прижимать к груди.

– Пустите, граф, пустите! Нет, это ужасно!.. Это невозможно, – говорила Клеопатра Николаевна, слабо вырывая у него руки; но граф за них крепко держался.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в гостиную не вошел вдруг Задор-Мановский. Граф и вдова отскочили в разные стороны. Последняя не могла на этот раз сохранить присутствия духа и выбежала вон.

– Я забыл мои бумаги, – говорил как бы не заметивший ничего Мановский.

Он начал первоначально смотреть по окнам, а потом, будто не сыскав того, что было ему нужно, прошел в спальню вдовы, примыкавшую к гостиной, где осмотрел тоже всю комнату, потом сел, наконец, к маленькому столику, вынул из кармана клочок бумаги и написал что-то карандашом. Оставив эту записочку на столе, он вышел.

Между тем граф сидел в гостиной, совершенно растерявшись.

Не находя, что бы такое предпринять, он вздумал приласкаться к Мановскому и постараться придать всему происшествию вид легкой шутки.

– Как вы нас перепугали! – сказал он. – Я позволил себе маленькую шалость с хозяйкой; она очень милая и веселая дама!.. Вы, я думаю, удивились.

Мановский посмотрел на графа.

– Ни крошки, – отвечал он спокойным голосом. – Я и сам с нею шучивал.

– Право? – спросил граф.

– Да; она ведь уж давно этакая!.. Вчера со мной, сегодня с вами, а завтра с третьим. Уж такая у нее натура, – проговорил Мановский и вышел.

Между тем Клеопатра Николаевна забежала на мезонин и села за небольшие, стоявшие там ширмы. Она, видно, знала, что ее будут искать. Не прошло десяти минут, как стук отъезжавшего экипажа заставил,

наконец, ее переменить положение.

Она бросилась к окну и, увидев выезжавшего Мановского, тотчас же сбежала вниз, выглянула из спальни в гостиную, чтобы посмотреть, не уехал ли граф, но Сапега сидел на прежнем месте. Клеопатра Николаевна, несмотря на внутреннее беспокойство, поправила приведенный в беспорядок туалет и хотела войти в гостиную, как вдруг глаза ее остановились на оставленной Мановским записке. Она схватила ее, прочитала и окончательно растерялась.

Мановский ей писал:

«Прошу вас к будущему четвергу приготовить все брильянтовые, хозяйственные и усадебные вещи по составленной после смерти вашего мужа описи. Я намерен принять и приступить к управлению имением, а равным образом прошу вас выехать из усадьбы, в которой не считаю нужным, по случаю отсутствия вашей дочери, освещать, отапливать дом и держать горничную прислугу, чтобы тем прекратить всякие излишние расходы, могущие, при вашей жизни в оной, последовать из имения малолетней, на каковое вы не имеете никакого права.

Задор-Мановский».

Что было делать Клеопатре Николаевне?.. Прибегнуть к графу – казалось ей единственным средством. С этим намерением она, взявши письмо, вошла в го-

стиную и молча бросилась в отчаянии на диван; горсть ее на этот раз была неподдельная.

– Успокойтесь, успокойтесь, – говорил граф.

– Ах, я погибла! – отвечала вдова и подала ему письмо Мановского.

Граф прочитал письмо.

– Я дурно понимаю, – сказал он.

– Ах! – отвечала вдова. – Он опекун моей дочери, он выгоняет меня из этой усадьбы; мне нечем будет жить!... Все, что вы видите, все это принадлежит моей дочери!.. Покойный муж мой устранил меня от опекунства!..

Сапега думал. Теперь он понял все; Мановский был опекуном Клеопатры Николаевны и интриговал с нею; но, верно, наскучил вдове, и она хочет отделаться от него, – и это возможно в таком только случае, когда Михайло Егорыч будет устранен от опекунства. Ему легко будет это сделать. И за это одолжение можно будет получить от вдовы все, что только он желал от женщины, особенно если прибавить к тому обещание – взять ее в Петербург, с собою. Кроме того, он замаскирует этим себя перед обществом и Мановским, который станет подозревать его в интриге с Клеопатрою Николаевной, а в участии к Анне Павловне будет видеть одно дружеское расположение.

Обдумав все это и очень хорошо понимая, с какою

женщиною имеет дело, граф начал прямо:

– Ваши обстоятельства очень неприятны!.. Я могу помочь вам.

– Ах, помогите, помогите, граф! Я буду вам всю жизнь благодарна!

– Благодарна? Этого мало.

– Я вас буду любить, – отвечала вдова, которой обращение графа возвратило веселость и кокетство.

– Вы будете любить? Я сам вас буду любить. Дайте мне вас обнять.

Вдова повиновалась.

Граф обнял ее, и потухший в глазах его огонь снова заблистал.

– Поцелуйте меня! – произнес он.

Вдова поцеловала.

– Вы избавите меня от Задор-Мановского?

– А вы будете любить меня?

– Буду, только избавьте меня поскорее, – до этого я не могу любить вас.

– Нет! Наперед вы полюбите меня, а там и я для вас сделаю все, что только захотите.

– А вы меня будете любить, граф?

– Я вас люблю и буду любить.

– Вы возьмете меня в Петербург? Без вас я не в состоянии буду здесь остаться.

– Я вас никогда не оставлю.

– Вы демон! – сказала Клеопатра Николаевна и склонила голову к себе на грудь.

Граф уехал из Ярцова часу в двенадцатом. Клеопатра Николаевна, оставшись одна, долго и даже очень долго сидела задумавшись; в лице ее показалось даже что-то вроде страданий. Потом взяла она с своего туалетного столика портрет молоденькой девочки, поцеловала и проговорила: «Простишь ли ты когда-нибудь меня?» Это был портрет ее дочери. Поставив его на прежнее место, она вынула из ящика небольшой альбом, развернула его. На одной из страниц приклеено было знакомое нам письмо Эльчанинова, которое он написал ей, уезжая от нее ночью. «Прости и ты меня!» – сказала Клеопатра Николаевна, глядя на записку и целуя ее; потом опустилась на диван и снова задумалась. Нравственный инстинкт женщины говорил в ней как бы помимо ее воли.

Граф тоже возвратился домой в каком-то странном расположении духа. «Однако мне здесь не так скучно, как я ожидал», – сказал он, усаживаясь на диван. Но потом сделал презрительную гримасу и задумался.

Дня через два после того становой привез Мановскому указ из опеки об устранении его от опекунства над имением малолетней Мауровой.

– Я еще не принимал имения, – сказал Мановский, подавая описи, крепости и другие документы стано-

вому, – а получил только бумаги. Вот они, передайте их, кому будет следовать.

– А знаете, кто назначен на ваше место?..

– Нет, не знаю.

– Иван Александрыч Гуликов. Нечего сказать, славный опекун. Я сейчас везу к нему указ.

Мановский ничего не отвечал.

V

Время шло. Анна Павловна очень грустила об отце, считая себя виновницей его смерти; но старалась это скрыть, и, когда слезы одолевали ее, она поспешно уходила и плакала иногда по целым часам не переставая. Положение Эльчанинова, в свою очередь, тоже делалось день ото дня несноснее; он, не скрываясь, хандрил. Анна Павловна начинала окончательно терять в его глазах всякую прелесть, она стала казаться ему и собой нехороша, и малообразованна, и без всякого характера. Он не находил, что с нею говорить; ему было скучно с нею сидеть и даже глядеть на нее. Уединенная и однообразная жизнь, к которой он вовсе не привык и на которую обречен был обстоятельствами, сделалась ему невыносима. «Хоть бы выехать куда-нибудь к соседям, – думал он, – стыдно... да, пожалуй, встретишься еще с Мановским». Уехать куда-нибудь с Анной Павловной, где бы он мог по крайней мере выезжать из дому, но на это не было никакой возможности, потому что у него ни копейки не было денег. Однажды, это было поутру, Анна Павловна сидела в гостиной на креслах. Савелий стоял и смотрел в окно. Эльчанинов лежал вниз лицом на диване.

– Что ты, Валер, все лежишь? – проговорила Анна

Павловна.

– Так, – отвечал Эльчанинов и позевнул. – Кажется, и не дождешься этого счастливого дня, – продолжал он, – когда выберешься отсюда. Мне, наконец, никакого терпения недостает здесь жить.

– Тебе скучно? – проговорила Анна Павловна. Голос ее дрожал.

– Нет, мне не скучно, с тобой я никогда не могу скушать; но это ожидание, эта неопределенность положения – это ужасно!

– Чего же вы ожидаете? – спросил Савелий.

– Места, которое могло бы обеспечить мою и Анны Павловны будущность и которое обещал мне дать граф.

– Отчего же он не дает? – заметил Савелий.

– Ах, господи боже мой, да разве это можно заочно сделать? Это не то, что определить куда-нибудь писцом или становым приставом.

– Но какое же вам хочет дать место граф?

– Какое? Я не знаю, собственно, какое, – отвечал с досадою Эльчанинов, которому начинали уже надоедать допросы приятеля, тем более, что он действительно не знал, потому что граф, обещаясь, никогда и ничего не говорил определенительно; а сам он беспрестанно менял в голове своей места: то воображал себя правителем канцелярии графа, которой у того,

впрочем, не было, то начальником какого-нибудь отделения, то чиновником особых поручений при министре и даже секретарем посольства.

– Я знаю только то, – присовокупил он, – что граф может дать место и выгодное и видное.

Савелий, кажется, хотел что-то возразить ему, но, взглянув в это время в окно, вдруг остановился и проговорил каким-то странным голосом:

– Михайло Егорыч, кажется, сюда едет!

Эльчанинов вскочил и побледнел как мертвец. Анна Павловна задрожала всем телом.

– Эй, люди! Не пускать там, кто приедет! – вскрикнул было Эльчанинов.

– Нельзя не пускать. Ступайте туда и задержите его в зале; говорите, что Анны Павловны у вас нет, – перебил Савелий и, почти вытолкнув приятеля, хлопнул за ним дверь, а сам взял проворно Анну Павловну за руку и увел в задние комнаты. К крыльцу подъехал Мановский, с которым рядом сидел исправник, а на передней скамейке помещался у них стряпчий, корявейшая физиономия, когда-либо существовавшая в мире. Все втроем они вошли в залу. Эльчанинов, бледный, но насколько возможно владея собой, встретил их и спросил, что им угодно.

Исправник начал сконфуженным голосом, показывая на Мановского:

– Мы приехали по поданному прошению Михайло Егорыча, что супруга их проживает в здешней усадьбе.

– Что ж вам, собственно, угодно от меня? – болтнул Эльчанинов, и сам не зная хорошенько, что говорит.

– Приступайте к следствию; что тут разговаривать? – проговорил Мановский и сел.

– Конечно, лучше к следствию, – подтвердил стряпчий и нюхнул, отвернувшись в сторону, табаку, причем одну ноздрю зажал, а в другую втянул всю щепотку, а потом, вынув из бокового кармана бумагу, подал ее исправнику, проговоря: «Вопросные пункты». Исправник некоторое время переминался.

– Не угодно ли вам, – начал он, подавая Эльчанинову бумагу, – ответить на эти вопросы?

Эльчанинов взял. Кровь бросилась у него в голову, он готов был в эти минуты убить всех троих, если бы достало у него на это силы.

– Может быть, вам угодно, чтобы я здесь при вас отвечал? – проговорил он с некоторою гордостью.

– По закону следует здесь, в присутствии господ следователей, – произнес стряпчий и опять нюхнул.

Эльчанинов взял чернильницу, поставил ее на ближайший стол, сел и начал писать. На вопрос: как его зовут, какой он веры и прочее, он ответил сейчас же; но далее его спрашивали: действительно ли Анна

Павловна бежала к нему от мужа, живет у него около года и находится с ним в любовном отношении? Эльчанинов остановился. Что было отвечать на это? Припомнив, впрочем, слова Савелья, он поставил одну общую скобку и написал: «Ничего не знаю». Исправник взял у него потом ответы дрожащими руками и начал читать. Стряпчий заглянул ему через плечо.

– Стало быть, госпожа Мановская и теперь проживает не в вашем доме? – спросил он, обращаясь к Эльчанинову.

– Я уже на это ответил и с вами разговаривать больше не желаю, – сказал тот, с презрением взглянув на стряпчего.

Мановский встал; молча взял ответы у исправника, прочитал их и произнес ровным голосом:

– Я прошу вас, господа, сделать обыск в усадьбе и в доме.

Исправник пожал плечами и обратился к стряпчему, проговоря: «Следует ли?»

– Без сомнения, следует; желание истца на то есть, – отвечал тот и как-то значительно откашлянулся и плюнул в сторону, как бы желая этими движениями намекнуть Мановскому: «Помни же мои услуги».

Следователи и Мановский пошли по дому. Эльчанинов потерялся: он прислонился к косяку окошка и не мог ни говорить, ни двинуться с места.

– Это шаль моей жены! – говорил Мановский, проходя по гостиной и видя лежавший на диване платок Анны Павловны. – Запишите, – отнесся он к стряпчему.

– Помню и так, без записки, – подхватил тот.

Пройдя наугольную и чайную, они пошли в спальню.

– Это женин салон, – сказал Мановский стряпчему.

– Вижу, вижу, – отвечал тот.

– Женино платье, – заключил Михайло Егорыч, отворив шкаф и вынув оттуда два или три платья Анны Павловны.

Из спальни следователи перешли в другие комнаты. Михайло Егорыч осматривал каждый угол, заставляя отпирать кладовые, чуланы, лазил в подвал, и все-таки Анны Павловны не нашли.

Осмотрев дом, Мановский пошел по избам, лазил на полати, заглядывал в печи – и все ничего.

– Где моя жена? – спросил он, проходя по двору, попавшуюся ему навстречу бабу.

– В горнице, поди, чай, батюшка, – отвечала та, простодушно и низко кланяясь.

– Записать это надо? – сказал Мановский, обращаясь опять к стряпчему.

– Непременно, непременно, – отвечал тот.

– Куда уехала Анна Павловна? – озадачил Манов-

ский проходившего мимо эльчаниновского кучера.

– Ничего я не знаю-с, – отвечал тот бойко.

– Скотина, – произнес Мановский и пошел далее.

Потом они возвратились в зало, где Эльчанинов стоял все еще на прежнем месте.

– Составьте постановление нашему осмотру, – проговорил Михайло Егорыч.

– Сейчас, сию секунду, – отвечал стряпчий, понюхал табаку, откашлянулся, сел и написал минут в пять лист кругом.

– Прочитайте вслух, – сказал Мановский.

Стряпчий прочитал.

– Подпишите, – проговорил Михайло Егорыч.

Следователи подписались.

– Ну, теперь и вы удостоверьте, что все это справедливо, иначе мы повторим осмотр, – отнесся Задор к Эльчанинову.

– Извольте, – отвечал тот, совершенно уже потерянный, и подписал постановление.

– Ну, пока будет, – сказал Мановский и пошел.

Исправник и стряпчий пошли за ним. Через минуту они все уехали.

– Вы куда теперь? – спросил Михайло Егорыч исправника.

– На минуточку к вам, а тут к графу на бал.

– Черт бы драл их с их балами!.. Смотрите, не бол-

тайте там о деле.

– Чтой-то, господи, не молодой мальчик, – отвечал исправник.

– После поблагодарю, – продолжал Мановский, – а теперь надо другой еще раз, хоть на той неделе, наехать, чтобы обоих захватить.

– Для видимости в деле непременно надо обоих захватить, – подтвердил стряпчий.

Исправник только вздохнул. Эльчанинов между тем вошел в гостиную, бросился на диван и зарыдал. Это было выше сил его! В настоящую минуту он решительно не думал об Анне Павловне; он думал только, как бы ему спасти самого себя, и мысленно проклинал ту минуту, когда он сошелся с этой женщиной, которая принесла ему крупицу радостей и горы страданий.

Через четверть часа вошел к нему Савелий, который спас Анну Павловну от свидания с мужем тем, что выскочил с нею в окно в сад, провел по захолустной аллее в ржаное поле, где оба они, наклонившись, чтобы не было видно голов, дошли до лугов; Савелий посадил Анну Павловну в стог сена, обложил ее так, что ей только что можно было дышать, а сам опять подполз ржаным полем к усадьбе и стал наблюдать, что там делается. Видя, что Мановский уехал совсем, он сбегал за Анной Павловной и привел ее в усадьбу.

– Что они тут делали? – спросил он Эльчанино-

ва. Тот едва в состоянии был рассказать. Савелий несколько времени думал.

– Поезжайте сейчас же к графу, Валерьян Александрыч, и просите, чтобы он или взял к себе Анну Павловну, либо помог бы вам как-нибудь, как знает, а то Мановский сегодня же ночью, пожалуй, опять придет.

Эльчанинов всплеснул руками и схватил себя за голову.

– Боже мой, боже мой, что я за несчастный человек! – воскликнул он и зарыдал.

– Да полно вам реветь! Точно женщина какая: хуже Анны Павловны, ей-богу, та смелее вас. Одевайтесь! – проговорил с досадою Савелий.

Эльчанинов как бы механически повиновался ему. Он начал одеваться и велел закладывать лошадей. Савелий прошел к Анне Павловне, которая сидела в гостиной.

– Что Валер? – спросила она.

– Ничего, одевается, хочет сейчас ехать к графу и пожаловаться ему на исправника.

– А я одна останусь? Я боюсь, Савелий Никандрыч, – произнесла бедная женщина.

– Ничего-с; я у вас останусь, – отвечал Савелий.

– Добрый друг, – произнесла Анна Павловна, протягивая ему руку, которую Савелий в первый еще раз

взял и поцеловал, покраснев при этом как маков цвет.

Эльчанинов вошел совсем одетый, во фраке и раздушенный, как обыкновенно он ездил к графу.

– Что, Валер? – спросила Анна Павловна, протягивая к нему руку.

– Ничего, вздор, – отвечал он, как-то судорожно поеживаясь и торопливо целуя ее руку, и тотчас же уехал.

VI

В тот самый день, как Эльчанинов ехал к графу, у того назначен был бал, на котором хозяйкою должна была быть Клеопатра Николаевна. Пробыло семь часов. Эльчанинов первый подъехал к графскому крыльцу.

– Дома его сиятельство? – спросил он, войдя в официантскую, где стояла целая стая лакеев, одетых в парадные ливрейные фраки и штиблеты.

– У себя-с, в гостиной, – отвечал вежливо один из них. Эльчанинов пошел.

– Ах, *monsieur* Эльчанинов, – произнес ласково граф, сидевший уже во фраке и завитой на диване, ожидая гостей. – Очень рад вас видеть на моем вечере, хоть и не звал вас по нежеланию вашему встречаться с здешними господами.

– Знаю, ваше сиятельство, – отвечал Эльчанинов, – и приехал, собственно, не на бал, а с просьбой.

– С просьбой? – повторил граф. – Все, что только могу, поверьте, будет исполнено, – прибавил он.

Эльчанинов хотел было начать рассказ, но раздавшийся сзади голос остановил его.

– Я исполнила, граф, ваше желание и нарочно приехала раньше затем, чтобы занять свою должность.

– Je vous remercie, madame, je vous remercie¹⁷, – сказал граф, вставая. Эльчанинов обернулся. Это была Клеопатра Николаевна в дорогом кружевном платье, присланном к ней по последней почте из Петербурга, и, наконец, в цветах и в брильянтах. В этом наряде она была очень представительна и произвела на героя моего самое выгодное впечатление. С некоторого времени все почти женщины стали казаться ему лучше и прекраснее его Анны Павловны.

– Валерьян Александрыч! Вас ли я вижу? – полувскрикнула Клеопатра Николаевна.

– А вы знакомы? – спросил граф.

– Мы были друзья, – отвечала Клеопатра Николаевна, – по крайней мере я могу это сказать про себя, но monsieur Эльчанинов за что-то разлюбил меня.

– Напротив, но... – начал было Эльчанинов.

– Забудемте прошлое, мы еще с вами объяснимся, – перебила Клеопатра Николаевна, подавая ему руку.

– О, да между вами что-то интересное, – заметил с улыбкою граф.

– Что делать? Валерьян Александрыч сам очень интересен для женщин; это не одна я так думаю, – произнесла вдова с кокетливою улыбкою.

Видимо, что она заискивала в Эльчанинове.

¹⁷ Благодарю вас, сударыня, благодарю (франц.).

«Или эта женщина дьявол, или она невинна», – подумал тот про себя и обратился к графу:

– Могу ли я с вами переговорить, ваше сиятельство? Мне очень нужно.

– Если очень нужно... – проговорил граф.

– Нужно, ваше сиятельство, – повторил Эльчанинов.

– Извольте, – отвечал Сапега, – pardon, madame¹⁸, – прибавил он, кивнув головой Клеопатре Николаевне, и вышел с Эльчаниновым в кабинет.

Герой мой пересказал ему все, с некоторыми даже прибавлениями, и описал в таких ярких красках, что граф, слушая, пожимал только плечами.

– Для счастья, для спасения этой женщины я должен уехать отсюда! – заключил Эльчанинов.

Граф прошелся несколько раз по кабинету.

– Да, вам надобно уехать, и не мешкая, – произнес он. Эльчанинов замер от восторга.

– Меня одно только беспокоит, ваше сиятельство, – начал он, – как она?

– Да, но это уж ваше дело, – проговорил Сапега.

– Она не согласится, она будет проситься со мною. Да и как действительно ее оставить?

– Оставить вам ее нет никакой опасности. Мановский ничего не может сделать, когда вас не будет, да

¹⁸ извините, сударыня (франц.).

к тому же и я здесь. Но вам с собою ее брать не вижу ни малейшей возможности. Этим вы и себя свяжете и ей повредите. Вам надобно по крайней мере на некоторое время разлучиться совершенно, чтобы дать по-затихнуть всей этой истории.

– Решительно надобно расстаться, – подхватил Эльчанинов, – но я наперед знаю, – она не будет от-пускать.

– Урезоньте.

– Я думаю ее обмануть, ваше сиятельство.

– Ложь позволительна, если служит ко спасению, разрешаю вам. Но чем же вы ее обманете?

– Я скажу, что поеду закладывать имение, чтобы иметь деньги, с чем подняться.

– Хорошо!.. А в самом деле, есть ли у вас деньги? – спросил граф.

Эльчанинов покраснел и не отвечал.

– Нет?.. Что тут за скрытность, fi, mon cher¹⁹. Позвольте мне вам услужить этой мелочью.

– Граф...

– Без церемонии, друг... Когда же вы думаете вы-ехать?

– Послезавтра.

– Что ж, можно и послезавтра. Заезжайте ко мне, и я снабжу вас рекомендательными письмами и день-

¹⁹ Фи, мой дорогой! (франц.).

гами.

– Граф, чем мне отблагодарить вас? – сказал Эльчанинов.

– Любите меня и слушайте, – отвечал старик и хотел было идти, но Эльчанинов переминался и, видно, хотел еще что-то сказать.

– Я даже и теперь, ваше сиятельство, – начал он с принужденною улыбкою, – боюсь ехать домой, потому что сегодня-завтра ожидаю, что господин Мановский посетит меня.

Граф опять прошелся по кабинету.

– Ни сегодня, ни завтра не будет этого, потому что все эти здешние господа власти будут у меня, и я их остановлю, а вы подождите, побудьте у меня. Я скажу вам, когда можно будет ехать.

– Слушаю, ваше сиятельство, – отвечал Эльчанинов.

Граф, во всех своих действиях относительно Анны Павловны пока выжидавший, очень обрадовался намерению Эльчанинова уехать. Он очень хорошо видел, что тот не любит уже Мановскую и скучает ею, а приехавши в Петербург, конечно, сейчас же ее забудет, а потом... потом граф составил по обыкновению план, исполнение которого мы увидим в дальнейшем ходе рассказа.

Сопровождаемый Эльчаниновым, он возвратился в

гостиную. Там уже были все почти званые гости, приехавшие ровно в восемь часов, как было назначено в пригласительных билетах, и все были разряжены, насколько только могли: даже старуха Уситкова была в корсете, а муж ее напонадил такой пахучей помадой, что даже самому было это неприятно. М-ме Симановская приехала с красными и распухшими глазами: она два дня их не осушала, не получив к сроку из губернского города бального платья, которое она заказала на последние деньги. Старая девица-барышня была в легком платье и совершенно обнаживши костлявую шею. Молодых девиц было очень мною привезено, и в этом случае, должно отдать справедливость, преобладала порода Марковых, двух братьев, одного вдовца, а другого женатого, у которых было по семи дочерей у каждого. Из кавалеров были лучшими два молоденькие брата, мичманы Жигаловы, только что приехавшие к больной матери в отпуск и бывшие совершенно уверенными, в простоте юношеского сердца, что бал, собственно, и устроился по случаю приезда их. Граф всех и каждого оприветствовал и, открыв потом польским с Клеопатрою Николаевной бал, пригласил молодых людей продолжать танцы, а сам начал ходить то с тем, то с другим из гостей, которые были постарше и попочтнее. Проходя мимо исправника и других уездных чиновников, которые приехали

в мундирах, Сапега произнес.

– О господи, это немножко лишнее, к чему эта церемония в деревне, – а потом тут же, обратившись к исправнику, сказал мимоходом вполголоса: – Потрудитесь прийти через четверть часа в мой кабинет, мне надобно с вами поговорить.

Исправник побледнел; предчувствие говорило ему, что на него пожаловался Эльчанинов. Желая приласкаться к нему и порасспросить его, он подошел было к моему герою и начал:

– Меня граф зачем-то зовет в кабинет.

Но Эльчанинов в ответ на это отвернулся от него.

Исправник только вздохнул и, проведя потом мучительные четверть часа, отправился, наконец, в кабинет, где увидел, что граф стоит, выпрямившись и опершись одною рукою на спинку кресел, и в этой позе он опять как будто был другой человек, как будто сделался выше ростом; приподнятый подбородок, кажется, еще выше поднялся, ласковое выражение лица переменилось на такое строгое, что как будто лицо это никогда даже не улыбалось.

Исправник окончательно растерялся и стал навывтяжку, как говорится руки по швам.

– Извините, что я вас беспокоил, – начал граф очень серьезным тоном, – я хотел вас спросить, какой вы в усадьбе и в доме господина Эльчанинова делали

обыск?

– Ваше сиятельство, так как от господина Мановского поступило прошение о том, что супруга их не живут с ними и имеют местожительство в доме господина Эльчанинова, – отвечал исправник, суя руками туда и сюда.

На весь этот ответ его граф только кивнул головою.

– А вам известны причины, по которым госпожа Мановская не живет с мужем? – спросил он.

Исправник молчал.

– Вы знаете это? – повторил граф и слегка притопнул своей небольшой ногой.

– Как не знать, ваше сиятельство, все знаем-с, – отвечал исправник.

– Как же вы знаете и что делаете? – начал Сапега. – Вы приезжаете в усадьбу, производите обыск, как в доме каких-нибудь делателей фальшивых монет или в вертепе разбойников; вы ходите по кладовым, открываете все шкафы, сундуки, выкидываете оттуда платье, белье, наконец, ходите по усадьбе, как мародеры! Так служить, мой милый, нельзя!

Исправник начинал замирать.

– Если, наконец, эта несчастная женщина и тут, вы должны были только бумагой ее спросить, потому что в законе прямо сказано: больные и знатные женщины по уголовным даже следствиям не требуются лично,

а спрашиваются письменно, – произнес Сапега.

– Ваше сиятельство, я тут ничего... видит бог, ничего... – говорил исправник почти со слезами на глазах, – тут у нас все стряпчий: он все дела этикие делает, хоть кого извольте спросить.

– Слова ваши о стряпчем, мой милый, даже смешны, – возразил Сапега, – вы полицейская власть, вы цензор нравов, а не стряпчий.

– У меня, ваше сиятельство, есть удостоверение господина предводителя дворянства, – отвечал исправник, – как мне было тут делать, а, собственно, я ничего, спросите хоть Валерьяна Александрыча, я бы никогда не позволил себе так сделать. Я третьи выборы служу, и ни один дворянин от меня никакой обиды не видал...

– Попросите сюда Алексея Михайлыча и сами пожалуйте, – перебил его с досадою граф.

Исправник юркнул в двери, и чрез минуту он и предводитель вошли. Граф сейчас же посадил Алексея Михайлыча и сам сел.

– Я хочу вас, ваше превосходительство, просить, – начал Сапега, – нельзя ли как-нибудь затушить это неприятное дело Мановских. Вы как предводитель лучше других знаете, кто тут виноват.

– Знаю, ваше сиятельство, все знаю, – отвечал Алексей Михайлыч, – но что ж мне делать? – продол-

жал он, разводя руки. – Еще отец этого Мановского был божеское наказание для меня, а сын – просто мое несчастье!

– Именно несчастье, ваше сиятельство, – подхватил исправник, – и теперь вот они с стряпчим сошлись, а от стряпчего мы уж давно все плачем... Алексей Михайлыч это знает: человек он действительно знающий, но ехидный и неблагонамеренный до последнего волоса: ни дня, ни ночи мы не имеем от него покоя, он то и дело пишет на нас доносы.

– Ваш стряпчий, мой любезнейший, может писать доносы сколько ему угодно, – перебил опять с оттенком легкой досады граф, – дело не в том; я вас прошу обоих, чтобы дело Мановских так или иначе, как вы знаете таи, было затушено, потому что оно исполнено величайшей несправедливости, и вы за него будете строго отвечать. Оберегитесь.

– Как затушить, я уж не знаю, можно ли теперь? – спросил Алексей Михайлыч, взглянув на исправника.

– Можно, – отвечал тот.

– И прекрасно, – подхватил граф. Потом, обратившись к исправнику, прибавил: – А я вас прошу еще, чтобы нога ваша не была в усадьбе господина Эльчанинова, иначе мы с вами поссоримся.

– Зачем мне ездить! – отвечал исправник.

Граф попросил его возвратиться в гостиную накло-

нением головы, а Алексея Михайлыча движением руки.

– Как нам делать? – спросил, выходя, старик-предводитель исправника.

– Как делать? Скажу, что первый обыск потерял, а больше не поеду; пускай хоть в Сибирь ссылают.

Пока происходили все эти сцены в кабинете, в зале танцевали уж польку. Бойцами на этом поприще оказались только два мичмана, из коих каждый танцевал по крайней мере с девятой барышнею. Местные кавалеры, по новости этого танца, не умели еще его. Впрочем, длинный Симановский принялся было, но оказалось, что он танцевал одну польку, дама – другую, а музыка играла третью, так что никакого складу не вышло.

Клеопатра Николаевна, как игравшая роль хозяйки дома, не танцевала, но сидела и наблюдала, чтобы никто не скучал.

– Валерьян Александрыч, – сказала она Эльчанинову, одиноко ходившему по зале.

Тот подошел и сел около нее.

– Дайте мне посмотреть на вас, – продолжала Клеопатра Николаевна, – вы еще интереснее стали.

– Право? – спросил небрежно Эльчанинов, но внутренне довольный этим замечанием.

– В лице у вас какая-то грусть, – отвечала Клеопат-

ра Николаевна и сама о чем-то вздохнула.

– Не мудрено, я много страдал, – проговорил Эльчанинов.

– Но были и счастливы.

– Очень редко.

– Зато вполне.

– Конечно.

– Вы на меня сердитесь? Отчего вы тогда уехали? – продолжала Клеопатра Николаевна, почти уже шепотом.

Эльчанинов посмотрел ей в лицо.

– Я не хотел вам мешать, – отвечал он.

Клеопатра Николаевна вспыхнула.

– Чему мешать? – спросила она.

Эльчанинов не отвечал на этот вопрос.

– Довольны ли вы вашим опекуном? – спросил он вдруг.

– Которым?

– Разумеется, Мановским.

– Ах, боже мой, какую вы старину вспомнили! Мой опекун давно уж Иван Александрыч. Вот он, легок на помине. Приблизьтесь ко мне, милый мой Иван Александрыч! – продолжала Клеопатра Николаевна, обращаясь к графскому племяннику, который входил в это время в залу и хотел было уже подойти на этот зов; но вдруг быстро повернулся назад и почти бегом куда-то

скрылся.

– Он, верно, вас испугался, – сказала Клеопатра Николаевна Эльчанинову, – скажите, какой мерзавец!

– Здесь много таких господ, – отвечал тот. – Зачем вы сменили вашего опекуна; вы, кажется, с ним начинали так ладить?

– Это с чего пришло вам в голову?

– Припомните хорошенько ту ночь, когда я от вас уехал, – сказал Эльчанинов, устремив на вдову пронизательный взгляд.

– Что же такое?

– Он имел с вами тайное свидание.

Клеопатра Николаевна опять несколько покраснела.

– Да вы почему это знаете? – спросила она, впрочем, довольно спокойно.

– Я подсмотрел в окно.

– Что же вы из этого заключили?

– Заключил, что обыкновенно заключают из этого.

– Подите от меня! Я не думала, чтобы вы были обо мне такого мнения, – проговорила Клеопатра Николаевна обиженным голосом.

Эльчанинов посмотрел ей в лицо, в котором не заметил ни малейшего расстройства.

– Однако ж он был у вас? – сказал он.

– Был! Ему нужно было взять у меня бумаги, а ве-

чером он забыл и поутру хотел чем свет уехать. Он послал за мной горничную, чтобы я вышла, и я вышла в гостиную. Вот вам и история вся.

– О чем же вы плакали? – спросил Эльчанинов.

– Плакала о том, что он, человек жадный, скупой и аккуратный, стал усчитывать меня в каждой копейке. Как мне было не плакать, когда я самая дурная, я думаю, в мире хозяйка.

– Желал бы верить, – проговорил Эльчанинов.

Клеопатра Николаевна потупилась.

– Если бы я что-нибудь за собой чувствовала, – начала она, – неужели бы я могла говорить об этом так равнодушно? Ах, как вы меня мало знаете! Бог вам судья за это подозрение.

При этих словах Эльчанинову показалось, что у ней как будто бы навернулись слезы.

– Как вы меня, я думаю, презирали! – продолжала вдова после минутного молчания и взяв себя рукой за лоб. – Получивши вашу записку, я решительно была в недоумении и догадалась только, что вы меня в чем-то подозреваете, и, видит бог, как я страдала. Этот человек, думала, меня презирает, и за что же?

Разговор продолжался в том же тоне. Клеопатра Николаевна на этот раз очень ловко держала себя с Эльчаниновым: она не кокетничала уж с ним, а просто хвалила его, удивляясь его глубокой привязанности

к Анне Павловне, говоря, что так чувствовать может только человек с великой душой. Словом, она всеми средствами щекотала самолюбие молодого человека.

Эльчанинов окончательно с ней помирился: он рассказал ей о своей поездке в Петербург, поверил ей отчасти свои надежды, просил ее писать к нему, обещался к ней сам прежде написать. Клеопатра Николаевна благодарила его и дала слово навещать больную Анну Павловну, хоть бы весь свет ее за это проклинал.

В залу вошел граф и прямо подошел к Эльчанинову. Тот встал.

– Ваше дело устроено, – сказал вполголоса Сапега, – вы можете свободно ехать и собираться в путь, а там ко мне заедете.

Эльчанинов глубоким поклоном поблагодарил графа и отошел. Сапега занял его место. Эльчанинов, впрочем, не поехал сейчас домой; он даже протанцевал одну кадрили и перед ужином, проходя в буфет, в одном довольно темном коридоре встретил Клеопатру Николаевну.

– Ах, это вы! – сказала она и протянула Эльчанинову руку, которую тот взял и поцеловал.

Вдова, желая ему ответить обыкновенным поцелуем в голову, как-то второпях поцеловала его довольно

искренне в губы.

– Прощайте! – проговорила она.

– Прощайте!.. – отвечал он ей с чувством.

В продолжение всего ужина Эльчанинов переглядывался с Клеопатрою Николаевною каким-то грустным и многозначительным взором. Ночевать, по деревенскому обычаю, у графа остались только Алексей Михайлыч, никогда и ниоткуда не ездивший по ночам, и Клеопатра Николаевна, которая хотела было непременно уехать, но граф ее решительно не пустил, убедив ее тем, что он не понимает возможности, как можно по деревенским проселочным дорогам ехать даме одной, без мужчины, надеясь на одних кучеров.

VII

Эльчанинов возвращался домой, волнуемый различными чувствованиями: уехать в Петербург, оставить эти места, где он претерпел столько неприятностей, где столько скучал, – все это приводило его решительно в восторг; но для этого надобно было обмануть Анну Павловну, а главное – обмануть Савелья. «Что ж такое, – думал он, – это ненадолго, я могу тотчас по получении места вызвать ее к себе в Петербург, а оставаться здесь и дожидаться, пока она выздоровеет, нет никакой возможности. Надобно только пролабировать поискусней», – сказал он сам себе, входя на крыльцо дома.

В гостиной встретил его Савелий.

– Тише, – сказал тот, когда Эльчанинов довольно громко и неосторожно вошел в комнату.

– Что Анна? – спросил уж шепотом Эльчанинов.

– Ничего, порасстроились, а теперь заснули, – отвечал Савелий.

Приятеля некоторое время молчали.

– Савелий Никандрыч, – начал Эльчанинов, усаживаясь на диван, – посидимте здесь рядом, мне нужно с вами поговорить.

Савелий сел.

– Я хочу ехать отсюда.

Савелий посмотрел на него.

– Во-первых, все эти дрязги, – продолжал Эльчанинов, – граф прекратил сейчас же. У него был бал, был, между прочим, и исправник и такую получил голово-мойку, что, как сумасшедший, куда-то ускакал, и граф говорит, что оставаться мне так вдвоем с Анною Павловною превышает всякие меры приличия и что мы должны по крайней мере на полгода разойтись, чтобы дать хоть немного позатихнуть всей этой скандальной истории.

– А Анна Павловна, стало быть, останется здесь у вас же в доме? – возразил Савелий.

– Нет, не у меня, а у себя, я это имение ей продал, подарил, оно не мое, а ее.

– Кто ж этому поверит?

– Нет, поверят, потому что я из первого же города пришлю крепость на ее имя: удостоверение, кажется, верное; одной ей здесь ничего не могут сделать, но оставаться и жить таким образом, как мы до сих пор жили, это безумие.

– Не знаю, как хотите, так и делайте, я и сам с вами разума лишился, – возразил Савелий и махнул рукой.

Эльчанинов испугался, что Савелий рассердился.

– Простите меня и ее, мой добрый Савелий Никандрч, – подхватил он, протягивая приятелю руку, – но

что ж делать, если, кроме вас и графа, у нас никого нет в мире. Вас бог наградит за ваше участие. Дело теперь уже не в том: уехать я должен, но каким образом я скажу об этом Анете, на это меня решительно не хватит.

Савелий молчал.

– Савелий Никандрыч, скажите ей, предупредьте, – продолжал Эльчанинов.

– Что же я ей скажу?

– Ну, скажите... скажите, что я должен ехать непременно, обманите ее, скажите, что я еду закладывать это имение, всего на две недели.

Савелий думал: жить молодым людям вместе действительно было невозможно; совет графа расстаться на несколько времени казался ему весьма благо-разумным. Неужели же Эльчанинов такой гнусный человек, что бросит и оставит совершенно эту бедную женщину в ее несчастном положении? Он ветрен, но не подл, – решил Савелий и проговорил:

– Извольте, я скажу.

Эльчанинов бросился обнимать его.

Анна Павловна проснулась на другой день часов в девять. Она была очень слаба.

– Подите, Савелий Никандрыч, – сказал Эльчанинов, почти толкая в спальню приятеля, – подите, поговорите.

Савелий вошел.

– Он приехал, я слышала его голос, – говорила Анна Павловна.

– Валерьян Александрыч приехал, он сейчас придет, – отвечал Савелий.

– А где же он?

– Он вышел.

– Мне хочется видеть его поскорее.

– Он сейчас придет, поговорите лучше со мной. Я скажу вам новость, мы все скоро отсюда уедем.

– Ах, как это хорошо! Мне здесь страшно: что если он опять приедет... Куда же мы уедем?

– В Москву, Анна Павловна.

– А скоро?

– Скоро, только выздоравливайте, а Валерьян Александрыч прежде съездит один и заложит имение, – говорил Савелий.

– А я? – спросила Анна Павловна.

– А мы с вами после.

– Нет, я без Валера не останусь, я умру без него.

– Но как же? Вы больны, вам ехать нельзя.

– Мне теперь лучше; с чего вы это взяли? – говорила Анна Павловна. – Ей-богу, лучше, я могу ехать с ним.

– Как же вам ехать, Анна Павловна?.. Это нехорошо, вы не бережете своего здоровья для Валерьяна

Александрыча, ему это будет неприятно.

– Так он хочет оставить меня одну... Что ж он не идет? Я упрошу его взять меня с собою, – произнесла Анна Павловна и залилась горячими слезами.

– Успокойтесь, Анна Павловна, успокойтесь, – говорил Савелий, с глазами, полными слез, – Валерьян Александрыч едут только на две недели.

– На две недели! Нет, я поеду с ним, я пойду за ним пешком, если он не возьмет меня.

– Отпустите, Анна Павловна! Валерьян Александрыч едет всего на две недели, это необходимо для его счастья.

– Ах, как я желаю счастья Валеру! – говорила Анна Павловна.

– Ну вот видите, а не хотите его отпустить на две недели.

– Да я не могу, вы видите, я не могу! – произнесла она раздирающим голосом, прижав руки к груди.

– Укрепитесь, Анна Павловна, вы должны это сделать для счастья и спокойствия Валерьяна Александрыча.

– Когда же он едет?

– Послезавтра.

– Послезавтра?.. Отчего он не идет? Скажите ему, чтоб он пришел по крайней мере. Пошлите его.

Эльчанинов, стоявший у дверей и слушавший весь

разговор, вбежал в комнату.

– Анна! Друг мой! – вскричал он, обнимая и целуя ее.

Анна Павловна ничего не могла говорить и только крепко обвила его голову руками и прижала к груди.

– Ты едешь? – проговорила она.

– Еду, мой ангел! Это необходимо, чтобы упрочить общую нашу будущность.

– Поезжай, это необходимо для твоего счастья, я буду молиться за тебя.

– Я поеду ненадолго, мой ангел; скоро увидимся, – сказал Эльчанинов, – мне надо заложить только мое имение, и ты приедешь ко мне.

– Да, чтобы недолго, пожалуйста, недолго! Сядь ко мне поближе, посмотри на меня. Ах, как я люблю тебя! – И она снова обвила голову Эльчанинова своими руками и крепко прижала к груди. – Завтра тебя не будет уже в это время, ты будешь далеко, а я одна... одна... – И она снова залилась слезами.

– С тобой останется Савелий Никандрыч, он будет тебя утешать, – говорил растроганный Эльчанинов, и готовый почти отказаться от своего намерения и опять остаться в деревне и скучать.

Всю ночь просидел он у кровати больной, которая, не в состоянии будучи говорить, только глядела на него – и, боже! – сколько любви, сколько привязанно-

сти было видно в этом потухшем взоре. Она скорее похожа была на мать, на страстно любящую мать, чем на любовницу. Во всю ночь, несмотря на убеждения Савелья, на просьбы Эльчанинова, Анна Павловна не заснула.

Начинало уже рассветать.

– Дай мне руку, Валер, – сказала она.

Эльчанинов подал. Она долго держала ее в своих слабых руках, прижимая ее к своей груди, и потом, залившись слезами, произнесла:

– Не оставляй меня, не оставляй, Валер! Мне сердце говорит, что я без тебя умру!

– Анета! Друг мой, успокойся! – говорил Эльчанинов, сам готовый плакать.

– Да, я буду спокойна, ты этого хочешь, и я буду!.. Поезжай с богом. В чем же ты поедешь, велел ли ты приготовить экипаж?

– Я покуда поеду в коляске.

– Непременно же в коляске, тебе будет спокойнее!

А кто с тобой поедет?

– Я думаю взять Николая.

– Возьми Николая, он любит тебя. Позовите ко мне Николая, я попрошу, чтоб он тебе хорошо служил.

Эльчанинов вышел и через несколько минут возвратился вместе с лакеем лет сорока, рябым, но добродушным из лица и с серебряною серьгой в ухе.

– Николай, ты поедешь с барином, успокаивай его и береги, – начала больная.

– Будьте покойны, Анна Павловна, все исправим.

– Ах, как ты счастлив, Николай: ты поедешь с Валером, ты будешь видеть его, ты счастливее меня, Николай.

– Не пожалуемся, господа любят, – отвечал тот.

– Ты будешь беречь Валера, если он сделается болен, ты мне сейчас же напиши, и я тотчас приеду.

– Будьте покойны, Анна Павловна!.. Слава богу, нам не в первый раз.

– А готово ли у вас?

– Коляску вытащили, теперь укладываемся. Какую прикажете, Валерьян Александрыч, на пристяжку? Кучера говорят, что каурая очень шибко хромает.

– Какую хотите, – отвечал Эльчанинов. Ему было невыносимо грустно. – Савелий Никандрыч, потрудитесь распорядиться, – прибавил он.

Савелий и Николай вышли.

Анна Павловна обняла Эльчанинова. Он чувствовал, как на лицо его падали горячие ее слезы, как она силилась крепче прижимать его своими слабыми руками. Прошло несколько минут в глубоком и тяжелом молчании.

Вошел Савелий.

– Уж начали запрягать, – сказал он.

– Пора! – проговорила больная удушливым голосом. – Собирайся и ты, Валер; что ты наденешь? Одевайся теплее.

Эльчанинов вышел; ему хотелось только одного, чтобы как можно поскорее уехать.

– Проворнее, – сказал он попавшемуся навстречу Николаю, одетому уже в дорожную шинель.

– Готово-с, прикажете подавать?

– Подавайте!

– Люди хотят проститься, Валерьян Александрыч, – присовокупил Николай.

– Посылай! – произнес с досадою Эльчанинов.

Николай вышел, и вслед за ним вошло человек двенадцать дворовых баб и мужиков.

– Прощайте, батюшка Валерьян Александрыч! – говорили они, подходя к руке барина.

– Прощайте, прощайте, – повторил торопливо Эльчанинов и забыл даже напомнить им беречь Анну Павловну и слушаться ее. Надев теплый дорожный сюртук, он вошел в спальню больной. Анна Павловна сидела на кровати. Савелий стоял у окна в задумчивости.

– Ты совсем? – сказала больная довольно спокойным голосом.

– Прощай, Анета, до свиданья! – проговорил Эльчанинов, целуя ее руку.

– Прощай! – тихо проговорила она. – Дай мне обнять тебя, я тебя провожу.

– Не делай этого, Анета, ты слаба.

– Позволь мне хоть проводить тебя, дай мне руку. – И она встала, опираясь на руку Эльчанинова.

– Прощайте, Савелий Никандрович, – говорил тот, подавая свободную руку приятелю.

– Прощайте, Валерьян Александрович, – отвечал Савелий, крепко сжав руку друга.

Они поцеловались, и все трое вышли в залу.

– Постой, – сказала Анна Павловна, как бы вспомнив что-то, – ты будешь писать ко мне?

– Буду, друг мой!

– А часто ли?

– Часто.

– Пиши два раза в неделю, непременно пиши. Теперь благослови меня.

Эльчанинов перекрестил ее.

– Прощай, Анета, останься здесь, ты слаба.

– Я провожу тебя на крыльцо. – Анна Павловна хотела идти, но силы ее совершенно оставили.

– Не могу... Прощай! – произнесла она и уж в беспомощности обхватила Эльчанинова за стан.

– Примите ее, – сказал Эльчанинов, разводя ее холодные руки, и, почти бегом выбежав на крыльцо, вскочил в коляску.

– Пошел скорее в Каменки! – крикнул он.

Кучер ударил по лошадям, и коляска с шумом выехала в поле. Эльчанинову стало легче; как бы тяжелое бремя спало у него с души; минута расставанья была скорей досадна ему, чем тяжела.

«Как эти женщины слабы! – думал он. – Я люблю ее не меньше, да что ж такое? Так необходимо, и я повинуюсь». Размышляя таким образом, он мало-помалу погрузился в мечты о будущем. Впрочем, надо отдать справедливость, что он выехал из своей усадьбы с твердым намерением выписать Анну Павловну при первой возможности.

Между тем граф только что еще проснулся и сидел в своем кабинете.

– А! Вы уж совсем! – сказал он, увидя входящего Эльчанинова в дорожном платье. – Исправны. Присядьте. Как здоровье Анны Павловны? Как она вас отпустила?

– Не спрашивайте лучше, ваше сиятельство, одна только неизбежная необходимость заставила меня не отказаться от моего намерения, – отвечал Эльчанинов.

– Честь вашей воле! Это прекрасно в молодом человеке. Поверьте, все к лучшему! Вам надобны теперь письма и деньги.

С этим словом граф подошел к письменному столу

и начал писать. Через полчаса он вручил Эльчанинову четыре пакета и 200 рублей серебром.

– Извините, что мало, – сказал он, подавая деньги, – там, по письму, вы можете, в случае нужды, адресоваться к моему поверенному.

Эльчанинов встал и начал раскланиваться.

– Прощайте, милый друг, – говорил граф, обнимая молодого человека, – не забывайте меня, пишите; могу ли я бывать у Анны Павловны?

– Граф! Я вас хотел просить об этом. Позвольте мне предоставить ее в полное ваше покровительство. Вы один, может быть, в целом мире...

– Все будет хорошо! Все будет хорошо! – говорил старик, еще раз обнимая Эльчанинова, и, когда тот, в последний раз раскланявшись, вышел из кабинета, граф опять сел на свое канапе и задумался. Потом, как бы вспомнив что-то, нехотя позвонил.

В кабинет вошел камердинер в модном синем фраке.

– Какой сегодня день?

– Четверг, ваше сиятельство.

– А когда почта в Петербург?

– Сегодняшний день, ваше сиятельство.

– Вели приготовить верхового в город.

Камердинер вышел. Граф снова подошел к бюро и начал лениво писать:

«Любезный Федор Петрович!

К тебе явится с моими письмами, от 5 сентября, молодой человек Эльчанинов. Он мне здесь мешает, затяни его в Петербурге, и для того, или приищи ему службу повидней и потрудней, но он вряд ли к этому способен, а потому выдавай ему денег понемногу, чтобы было ему на что фланерствовать. Сведи его непременно с Надей. Скажи ей от меня, чтобы она занялась им, я ей заплачу; а главное, чтобы она вызвала его на переписку, и письма его к ней пришли ко мне. Надеюсь, что исполнишь.

Граф Сапега».

Написавши письмо, граф опять позвонил нехотя. Вошел тот же камердинер.

– Отправить страховым! – сказал Сапега и начал ходить скорыми шагами по комнате, вздыхая по временам и хватаясь за левый бок груди. Ему не столько нездоровилось, сколько было совестно своих поступков, потому что, опять повторяю, Сапега был добрый в душе человек, – но женщины!.. Женщин он очень любил и любил, конечно, по-своему.

VIII

Спустя неделю после отъезда Эльчанинова граф приехал в Коровино. Анна Павловна была по большей части в беспамятстве. Савелий встретил графа в гостиной.

– Могу ли, любезный, я видеть больную? – спросил граф, приняв Савелья за лакея.

– Она в беспамятстве теперь, ваше сиятельство, – отвечал почтительно Савелий.

– Все-таки я могу войти?

– Пожалуйста.

Граф вошел в спальню.

– Боже мой! Боже мой! – вскричал он, всплеснув руками. – Ах, как она больна! Она в отчаянном положении! Кто же ее лечит? Кто за ней ходит?

– Я за ней хожу, ваше сиятельство, – отвечал Савелий.

– Но как же ты можешь ходить? Это неприлично даже – ты мужчина.

– Мне поручил ее Валерьян Александрыч, – отвечал Савелий.

– Очень неосмотрительно сделал Валерьян Александрыч; ты можешь любить госпожу, быть ей верен, но никак не ходить за ней больною.

Савелий не отвечал.

– Как сыро, как холодно в комнате! – продолжал граф. – Бедная... бедная моя Анета! Часто ли ездит к ней по крайней мере лекарь?

– Лекарь не ездит, ваше сиятельство, – отвечал Савелий.

– Господи боже мой! – вскричал граф. – Что вы с нею делаете! Вы хотите просто ее уморить! Это ужасно! Сегодня же, сейчас же перевезу ее к себе.

– Нет, ваше сиятельство, – возразил было Савелий.

– Что такое нет? Оставить вам ее здесь уморить? – перебил граф.

– Я не могу отпустить Анны Павловны: она мне поручена, – сказал с твердостью Савелий.

– А я не могу оставить ее здесь, – отвечал граф, несколько удивленный дерзостью Савелья. – Оставить, когда у ней нет ни доктора, ни прислуги даже, которая могла бы ходить за ней.

Слова его были отчасти справедливы. Служанки, редко бывавшие в комнатах и в бытность Эльчанинова, теперь совершенно поселились в избах. Один только Савелий был безотлучно при больной. Пригласить медика не было никакой возможности; Эльчанинов, уехавши, оставил в доме только десять рублей. Савелий, никак не предполагавший подобной беспечности со стороны приятеля, узнал об этом после.

Услышавши намерение графа взять к себе Анну Павловну, он сначала не хотел отпускать ее, не зная, будет ли на это согласна она сама и не рассердится ли за то; но, обдумавши весь ужас положения больной, лишенной всякого пособия, и не зная, что еще будет впереди, он начал колебаться.

– Я не знаю, ваше сиятельство, – начал он не с прежнею твердостью, – захочет ли больная переехать к вам.

– Чего тут больная! Она умирает, а ее спрашивать, хочет ли она помощи. Я сейчас возьму ее.

– Я не могу совсем оставить Анны Павловны; если вам угодно взять ее, то позвольте и мне быть при них.

– Ты можешь наведываться, пожалуй.

– Я должен быть непрестанно при них. Я поклялся в этом Валерьяну Александрычу.

– Это совершенно не нужно; у Анны Павловны и без тебя будет много прислуги.

– Я не слуга, ваше сиятельство, – сказал, наконец, Савелий, вынужденный объявить свое настоящее имя.

Граф с удивлением и с любопытством посмотрел на молодого человека.

– Но кто же вы? – спросил он.

– Я знакомый Валерьяна Александрыча, – отвечал Савелий.

– Фамилия ваша?

– Молотов.

– Имя ваше, звание?

– Савелий Никандрыч, а звание – дворянин-с.

– И вы говорите, что Валерьян Александрыч поручил вам Анну Павловну?

– Да, ваше сиятельство.

– Но я полагаю, что это не мешает мне взять к себе в дом Анну Павловну; вы можете быть у меня, сколько вам угодно.

– Нет уж, ваше сиятельство, позвольте, я буду при них неотлучно.

– Как вам угодно, – отвечал Сапега, слегка пожав плечами, и потом прибавил: – Потрудитесь велеть подать карету.

Савелий вышел.

«Что это за человек? – подумал граф. – Он, кажется, очень привязан к больной и пользуется доверием Эльчанинова. Он может повредить мне во многом, но все-таки оттолкнуть его покуда невозможно, а там увидим».

Савелий воротился.

– Карета готова, ваше сиятельство.

– Ну, теперь прикажите положить постель, я полагаю – это необходимо.

– Я уже все сделал, теперь только вынести Анну

Павловну.

– Оденьте ее, бога ради, потеплее, – произнес граф.

– Одену-с, – отвечал Савелий и вышел.

Граф еще раз с удивлением посмотрел на молодого человека и вышел в гостиную.

Между тем Анна Павловна, бывшая с открытыми глазами, ничего в то же время не видела и не понимала, что вокруг нее происходило. Савелий позвал двух горничных, приподнял ее, надел на нее все, какое только было, теплое платье, обернул сверх того в ваточное одеяло и вынес на руках. Через несколько минут она была уложена на перине вдоль кареты.

Граф сел с другой стороны.

– Позвольте уж и мне, ваше сиятельство, – сказал Савелий, влезая вслед за графом в экипаж.

Но тот ничего не отвечал и только продолжал с удивлением смотреть на него.

От Коровина до Каменок было не более семи верст, но так как граф, по просьбе Савелья, велел ехать шагом, чтоб не беспокоить больной, то переезд их продолжался около двух часов. Во всю дорогу Савелий и граф молчали; первый со всей внимательностью следил за больной; что же касается до Сапеги, то его занимала, кажется, какая-то особенная мысль. Часа в два пополудни карета остановилась у крыль-

ца, граф вышел первый и тотчас распорядился, чтоб была приготовлена отдельная комната, близ библиотеки, и велел сию же секунду скакать верховому в город за медиком. Анну Павловну перенесли и уложили в постель, две горничные поставлены были на бесменное дежурство к ней; однако Савелий, несмотря на это, последовал за ней и поместился на дальнем стуле. Граф прошел в свой кабинет; его беспокоило, что скажет Анна Павловна, пришедши в чувство, и не захочет ли опять вернуться в Коровино. Он придумывал различные средства, которыми мог бы заставить ее остаться у него. Кроме того, его начинал беспокоить Савелий, которого живое участие казалось весьма ему подозрительным. Сапега еще дорогой решился подслушать, что будет говорить больная со своим поверенным, и таким образом узнать, в каких отношениях находятся между собою молодые люди. Он с намерением поместил Анну Павловну рядом с библиотекою, в которую никто почти никогда не входил и в которой над одним из шкафов было сделано круглое окно, весьма удобное для наблюдения, что делалось и говорилось в комнате больной. Теперь Сапега размышлял, кому поручить подслушать. Ему самому невозможно; для этого, может быть, нужно будет просидеть целый день, ночь в библиотеке и влезть, наконец, на шкаф, над которым было окно. Употре-

бить для того кого-нибудь из людей граф не хотел; Иван Александрыч лучше всех оказался удобным исполнить это поручение... За ним был послан гонец, и через полчаса изгнанный племянник, в восторге от возвращенной к нему милости, стоял в кабинете.

– Мне до тебя маленькая надобность, Иван, – сказал граф ласково. – Сядь поближе.

Иван Александрыч сел.

– Какой есть дворянин Молотов, Савелий, кажется, Макарыч, что ли? – продолжал Сапега.

– Савелий, ваше сиятельство, точно так-с, – подхватил Иван Александрыч.

– Что ж он такое за господин? – спросил Сапега.

– Какой господин, ваше сиятельство, бедняк, лет тридцати дубина, нигде еще и не служил. Делает вон телеги, – подхватил Иван Александрыч.

– Он часто бывает у Эльчанинова?

– Не молу знать, ваше сиятельство.

– Он теперь у меня, вместе с Мановской, я ее, больную, привез к себе.

– У вас, ваше сиятельство?

– Да, у меня. Я их обоих привез из Коровина; больная в беспамятстве. Хочешь посмотреть?

– Для чего же, ваше сиятельство, не посмотреть!

– Ну так ступай в библиотеку, знаешь, там окно над шкафом, влезь на шкаф и посмотри.

– На шкаф влезть, ваше сиятельство? Нет, бог с ними. Нельзя ли как-нибудь в щелочку?

– Не нарочно же для тебя делать щели.

– Ну так и не надо, ваше сиятельство, я не хочу.

– Ты-то не хочешь, да я хочу. Мне надобно знать, что будет говорить больная, когда придет в себя. Сослужи мне эту службу.

– Помилуйте, ваше сиятельство, если вам угодно, так я сейчас же... Я ведь думал, что вы говорите это так, для меня-с.

– Именно сейчас же, только вот в чем дело: тебе, может быть, придется просидеть целую ночь да и завтрашний день.

– Это ничего, ваше сиятельство, лишь бы вам было угодно.

– Ну, значит, спасибо, только слушай: ты как можно внимательнее должен смотреть, что будут они делать и что говорить. Я нарочно оставил их вдвоем.

– С кем же вдвоем, ваше сиятельство?

– Да я тебе говорил, с этим Молотовым.

– Понимаю-с, понимаю-с теперь, а то никак еще в ум-то хорошенько не мог сразу взять, – подхватил Иван Александрыч.

– Тебе нечего тут в ум и брать, – перебил его граф, – твое дело будет только подслушать и подсмотреть все, что будет делаться в комнате, и мне все пере-

дать, хотя бы стали бранить меня. Понимаешь?

– Понимаю, ваше сиятельство.

– Ну так пойдём... я тебя запроу в библиотеке.

– Только ночью-то, ваше сиятельство, больно темно там будет.

– Да что ты, чертей, что ли, боишься?

– Маленького нянька напугала, вот теперь, если комната чуть-чуть побольше да темно, так уж ужасно боюсь.

– Полно вздор молоть, пойдём.

Граф и племянник вошли в библиотеку. Начинало уже смеркаться. Невольно пробежала холодная дрожь по всем членам Ивана Александрыча, когда они очутились в огромной и пустой библиотеке, в которой чутко отдались их шаги; но надобно было ещё влезть на шкаф. Здесь оказалось немаловажное препятствие: малорослый Иван Александрыч никак не мог исполнить этого без помощи другого.

– Дай я тебя подсажу, – сказал граф.

– Вы, ваше сиятельство?.. Как это можно вам беспокоиться! Позвольте уж, я лучше сбегая за стулом.

– Давай сюда ногу.

– Не могу, ваше сиятельство, грязна очень, я, признаться сказать, приехал без калош.

– Говорят тебе давай, несносный человек.

Иван Александрыч вынул из кармана носовой пла-

ток, обернул им свой сапог и в таком только виде осмелился поставить свою ногу на руку графа, которую тот протянул. Сапега с небольшим усилием поднял его и посадил на шкаф. Иван Александрыч в этом положении стал очень походить на мартышку.

– Ну, прощай, смотри хорошенько, я побываю у тебя, – сказал граф, вышедши, и запер дверь.

Ивану Александрычу сделалось очень страшно, и он решил все внимание обратить на соседнюю комнату, в которой уже показался огонь.

Сапега вошел в комнату больной.

– Вы здесь? – сказал он, подходя к Савелью и садясь на ближний диван.

– Я попрошу позволения провести здесь всю ночь.

Сапега хотел что-то отвечать, но приехавший медик прервал их разговор. Он объявил, что Анна Павловна в горячке, но кризис болезни уже совершился.

– Когда она придет в себя? – спросил заботливо граф.

– Я полагаю, сегодняшнюю ночь или поутру.

– Сегодняшнюю ночь, – повторил граф. – Послушайте, – прибавил он, обращаясь к Савелью, – мне кажется, вам лучше одному остаться у больной, чтобы вид незнакомых лиц, когда она придет в себя, не испугал ее.

– Это очень хорошо, ваше сиятельство, – отвечал

Савелий.

– Мы так и распорядимся... Вы сегодня не будете дежурить, – сказал Сапега горничной. – Впрочем, не нужно ли чего-нибудь сделать? – спросил он медика.

– Теперь ни к чему нельзя приступить, надобно ожидать от природы, я должен остаться до завтрашнего дня, – отвечал медик.

– Благодарю; стало быть, мы можем уйти. До свиданья.

Хозяин, медик и горничная вышли из комнаты.

Савелий, оставшись один в спальне, сейчас пересел ближе к больной. Глаза его, полные слез, с любовью остановились на бледном лице страдальцы, которой, казалось, становилось лучше, потому что она свободнее дышала, на лбу у нее показалась каплями испарина – этот благодетельный признак в тифозном состоянии. Прошло несколько минут. Савелий все еще смотрел на нее и потом, как бы не могли удержать себя, осторожно взял ее худую руку и тихо поцеловал. При этом поступке лицо молодого человека вспыхнуло, как обыкновенно это бывает у людей, почувствовавших тайный стыд. Он проворно опустил руку, встал с своего места и пересел на отдаленное кресло.

Предсказание врача сбылось, больная часа через два пришла в себя; она открыла глаза, но, видно, зре-

ние ее было слабо и она не в состоянии была вдруг осмотреть всей комнаты. Савелий подошел.

– Это вы? – сказала она слабым голосом.

– Я, Анна Павловна, слава богу, вам лучше, – отвечал Савелий.

– Погодите, – начала больная, осматриваясь и водя рукой по лбу, как бы припоминая что-то, и глаза ее заблестали радостью. – Где мы? Верно, в Москве, у Валера, – сказала она с живостью. – Мы приехали к нему, где же он? Бога ради, скажите, где он?

– Мы не у Валерьяна Александрыча, а только скоро к нему поедем.

– Так не у него! Господи, я его не увижу! Где же мы?

– Мы у графа, Анна Павловна.

– У графа! – вскрикнула она. – Зачем же мы у графа? Поедьте, бога ради, поедьте поскорее, я не хочу здесь оставаться.

– Вам здесь покойнее, Анна Павловна, – сказал Савелий. – Граф нарочно перевез вас; он очень заботится, пригласил медика, и вот вам уж лучше.

– Уедемте, бога ради, уедемте, – просила она, – мне здесь нехорошо.

– Если мы поедем в Коровино, вам опять будет хуже, вам нельзя будет ехать к Валерьяну Александрычу, а уж он, я думаю, скоро напишет.

– Мне будет и там лучше, я буду беречь себя, я буду

лечиться там.

– Вам нельзя будет лечиться, у вас нет денег; это я виноват, Анна Павловна; мне оставил Валерьян Александрыч двести рублей, а я их потерял.

– Вам Валер оставил двести рублей? Какой он добрый!.. Мы напишем ему, он еще пришлет нам, только уедемте отсюда.

– Куда же мы будем писать, Анна Павловна? Мы не знаем еще, где Валерьян Александрыч. Поживите здесь покуда.

– Здесь? Ах нет, я не могу, не верьте графу, я боюсь его.

– Но чего же вам опасаться, Анна Павловна? Я при вас неотлучно буду.

– Нет, уедемте, бога ради, уедемте, мне сердце говорит. Вы не знаете графа, он дурной человек, он погубит меня.

– Анна Павловна, вспомните, что вы будете здесь жить для Валерьяна Александрыча, чтобы поскорее выздороветь и ехать к нему... Что если он напишет и станет ждать вас, а вы не сможете ехать?

– Ах, как мне тяжело! – сказала бедная женщина и закрыла лицо руками.

– Мы останемся здесь недолго... Бог даст, Валерьян Александрыч напишет, мы и поедем. До тех пор я буду беспрестанно около вас.

– Да, будьте, непременно будьте. Я без вас здесь не останусь, не отходите от меня ни на минуту, граф ужасный человек.

Вся эта сцена, с малейшими подробностями, была Иваном Александрычем передана Сапеге, который вывел из нее три результата: во-первых, Савелий привязан к Анне Павловне не простым чувством, во-вторых, Анна Павловна гораздо более любила Эльчанинова, нежели он предполагал, и, наконец, третье, что его самого боятся и не любят. Все это весьма обеспокоило графа.

IX

О переезде Анны Павловны в Каменки точно ворона на хвосте разнесла в тот же почти день по всей Боярщине. «Ай да соколена, – говорили многие, по преимуществу дамы, – не успел еще бросить один, а она уж нашла другого...» – «Да ведь она больна, – осмеливались возражать некоторые подобнее, – говорят, просто есть было нечего, граф взял из человеколюбия...» – «Сделайте милость, знаем мы это человеколюбие!» – восклицали им на это. «Что-то Михайло-то Егорыч, батюшки мои, что он-то ничего не предпринимает!..» – «Как не предпринимает, он и с полицией приезжал было», – и затем следовал рассказ, как Мановский наезжал с полицией и как исправника распек за это граф, так что тот теперь лежит больнехонек, и при этом рассказе большая же часть восклицали: «Прах знает что такое делается на свете, не поймешь ничего!» Впрочем, переезд Мановской к графу чувствительнее всех поразил Клеопатру Николаевну. Помирившись со своей совестью и испытавши удовольствие быть любимой богатым стариком, она решительно испугалась пребывания в доме графа Мановской, которую она считала своей соперницей. Очень естественно, что она навсегда утратит по-

кровительство Сапеги, который оставит и не возьмет ее с собою в Петербург, чего ужасно ей хотелось, — и оставит, наконец, в жертву Мановскому, о котором одна мысль приводила ее в ужас. Под влиянием этих опасений она решилась объяснить с графом и написала к нему письмо, которым умоляла его приехать к ней, но получила холодный ответ, извещающий ее, что граф занят делами и не может быть впредь до свободного времени. Она послала еще письмо, на которое ничего уж ей не отвечали. Видя тщетность писем, что еще более усилило ее опасения, она сама решилась ехать к графу и узнать причину его невнимания.

Между тем, как все это происходило, один только Задор-Мановский, к которому никто не ездил, ничего не знал.

В воздвиженьев день бывает праздник в Могилковском приходе. Михайло Егорыч, впрочем, был дома и обходил свои поля, потом он пришел в комнаты и лег, по обыкновению, в гостиной на диване. Вошла тихими шагами лет двадцати пяти горничная девка в китайчатом капоте и в шелковой косынке, повязанной маленькой головкой, как обыкновенно повязываются купчихи. Это была уже знакомая нам горничная Анны Павловны. Матрена, возведенная в степень ключницы и называемая теперь от дворни Матреною Григорьевною, хотя барин по-прежнему продолжал назы-

вать ее Матрешкой. Постоявши немного и видя, что Михайло Егорыч не замечает ее, она кашлянула.

– Кто там? – спросил Мановский.

– Я, батюшка, – отвечала Матрена.

– Ты? – повторил Михайло Егорыч.

– Я-с, – отвечала ключница. – Благодарим покорно за лошадку, – прибавила она, подходя и целуя руку барина.

– Ну, что там?

– Ничего, батюшка, молились, таково было много народу! Соседи были, – отвечала ключница. Она была, кажется, немного навеселе и, чувствуя желание поговорить, продолжала: – Николай Николаич Симановский с барыней был, Надежда Петровна Карина да еще какой-то барин, я уж и не знаю, в апалетах.

– Да что вы долго? Поди, чай, по деревням ездили?

– Ой, полноте, батюшка, – возразила Матрена, – как это можно, тихо ехали-с, да я и не люблю. Что? Бог с ними. Только и зашли, по совести сказать, к предводительскому вольноотпущенному, к Иринарху Алексеичу, изволите знать? Рыбой еще торгует. Он, признаться сказать, увидел меня в окошко да и закричал: «Матрена Григорьевна, говорит, сделайте ваше одолжение, пожалуйста...» Тут только, батюшка, и посидела.

– Только?

– Только-с. Да я бы ведь и тут бы не засиделась, – нечего сказать, дом гребтит, – да разговор такой уж зашел, что нельзя было...

– Какой же?

– Про нашу Анну Павловну, батюшка.

– Про жену?

– Да-с.

– Что ж такое?

– Да извольте видеть, – начала Матрена, вздохнув и приложивши руку к щеке, – тут был графский староста, простой такой, из мужиков. Они, сказать так, с Иринархом Алексеичем приятели большие, так по секрету и сказал ему, а Иринарх Алексеич, как тот уехал, после мне и говорит: «Матрена Григорьевна, где у вас барыня?» А я вот, признаться сказать, перед вами, как перед богом, и говорю: «Что, говорю, не скроешь этого, в Коровине живет». – «Нет, говорит, коровинского барина и дома нет, уехал в Москву».

– Как в Москву? – проговорил Мановский, приподымаясь с дивана.

– Да, батюшка, в Москву, а барыня наша уж другой день переехала в Каменки.

Мановский, как бы не могший еще прийти в себя, посмотрел на ключницу каким-то странным взглядом.

– Как в Москву? Как в Каменки? – повторял он, более и более краснея.

– Да, в Москву, – отвечала Матрена, побледнев в свою очередь.

– Так что ж ты мне, бестия, прежде этого не сказала? – заревел вдруг Мановский, вскочивши с дивана и опрокинув при этом круглый стол.

– Батюшка, Михайло Егорыч, лопни мои глаза, сегодня только узнала.

– Заговор! Мошенничество! – кричал Мановский. – По праздникам только ездить пьянствовать!..

– Отец мой, Михайло Егорыч, успокойтесь, может, и неправда.

– Пошла вон!.. Уехал! Переехала!.. Старая-то крыса эта! А!.. Это его штуки... его проделки. Уехал!.. Врешь, нагоню, уморю в тюрьме! – говорил Мановский, ходя взад и вперед по комнате, потом вдруг вошел в спальню, там попались ему на глаза приданные ширмы Анны Павловны; одним пинком повалил он их на пол, в несколько минут исщипал на куски, а вслед за этим начал бить окна, не колотя по стеклам, а ударяя по переплету, так что от одного удара разлетелась вся рама. После трех – четырех приемов в спальне не осталось ни одного стекла, и Мановский, видно уже обессилевший, упал на постель. Холодный ветер, пахнувший в разбитые стекла, а может быть, и физическое утомление затушили его горячку. Почти целый час пролежал он, не изменив положения, и, казалось,

что-то обдумывал, потом крикнул:

– Эй, кто там!

Вошла опять та же Матрена.

– Вели сейчас лошадей готовить, – проговорил он.

Матрена ушла.

Часу в двенадцатом ночи Михайло Егорыч был уже в уездном городе, взял там почтовых лошадей и поскакал в губернский город.

В этот же самый день граф Сапега сидел в своей гостиной и был в очень дурном расположении духа. У него не выходила из головы сцена, происходившая между Савельем и Анной Павловной и пересказанная ему Иваном Александрычем. «Как она любит его!», – думал он и невольно оглянулся на свое прошедшее; ему сделалось горько и как-то совестно за самого себя. Любила ли его хоть раз женщина таким образом! Все было наемное, купленное. Вот теперь он старый холостяк, ему около шестидесяти лет; он, может быть, скоро умрет... Умрет!.. Как это страшно! Да, он чувствует, что силы его час от часу слабеют, и что же он делает? Интригует с одной женщиной и хочет соблазнить другую. На этих печальных мыслях доложили ему о приезде Клеопатры Николаевны.

Граф сделал гримасу, и, когда вдова вошла и подавала ему по обыкновению руку, он едва привстал с места.

Клеопатра Николаевна села.

– Извините меня, граф, – начала она, – что я не могла себе отказать в желании видеть вас, хоть вам это и неприятно.

– Напротив, я всегда радуюсь вашему посещению, – возразил Сапега.

– Вы не хотели, однако, исполнить моей просьбы я приехать ко мне, вы даже не хотели отвечать мне, бог с вами! – проговорила вдова.

– Я не имел времени, – ответил граф, и оба они замолчали на некоторое время.

– Опасения мои, кажется, сбываются, – начала Клеопатра Николаевна.

– Какие опасения? – спросил Сапега.

– В вашем доме, – продолжала Клеопатра Николаевна, как бы отвечая на вопрос, – живет женщина, которую вы любите и для которой забудете многое.

– Не обижайте этой женщины, – перебил ее строго граф, – она дочь моего старого друга и полумертвая живет в моем доме. В любовницы выбирают здоровых.

Клеопатра Николаевна вспыхнула, она поняла намек графа.

– Простите мою ревность, – начала она, скрывая досаду, – но что же делать, вы мне дороги.

– И вы мне дороги, – сказал двусмысленно граф.

Клеопатра Николаевна поняла тоже и этот каламбур. Она ясно видела, что граф хочет от нее отделаться, и решила на последнее средство – притвориться страстно влюбленной и поразить старика драматическими эффектами.

– Теперь я понимаю, граф, – сказала она, – я забыта... презрена... вы смеетесь надо мной!.. За что же вы погубили меня, за что же вы отняли у меня спокойную совесть? Зачем же вы старались внушить к себе доверие, любовь, которая довела меня до забвения самой себя, своего долга, заставила забыть меня, что я мать.

– Отчего вы не адресовались с подобными вопросами к Мановскому? – спросил насмешливо граф. Это превышало всякое терпение. Клеопатра Николаевна сначала думала упасть в обморок, но ей хотелось еще поговорить, оправдаться и снова возбудить любовь в старике.

– Это клевета, граф, обидная, безбожная клевета, – отвечала она, – я Мановского всегда ненавидела, вы сами это знаете.

– Тем хуже для вас, – возразил Сапега.

– Граф! Я вижу, вы хотите обижать меня, но это ужасно! Если вы разлюбили меня, то скажите лучше прямо.

– А вы меня любили? – спросил немилосердно Са-

пега.

– И вы, граф, имеете духу меня об этом спрашивать, когда я принесла вам в жертву свою совесть, утратила свое имя. Со временем меня будет проклипать за вас дочь моя.

– Что ж вам, собственно, от меня угодно? – спросил Сапега.

– Я хочу вашей любви, граф, – продолжала Клеопатра Николаевна, – хочу, чтоб вы позволили любить вас, видеть вас иногда, слышать ваш голос. О, не покидайте меня! – воскликнула она и упала перед графом на колени.

Презрение и досада выразились на лице Сапеги.

– Встаньте, сударыня, – начал он строго, – не заставляйте меня думать, что вы к вашим качествам прибавляете еще и притворство! К чему эти сцены?

– Ах! – вскрикнула вдова и упала в обморок, чтобы доказать графу непритворность своей горести.

Сапега только посмотрел на нее и вышел в кабинет, решившись не посылать никого на помощь, а сам между тем сел против зеркала, в котором видна была та часть гостиной, где лежала Клеопатра Николаевна, и стал наблюдать, что предпримет она, ожидая тщетно пособия.

Прошло несколько минут. Клеопатра Николаевна лежала с закрытыми глазами. Граф начинал уже ду-

мать, не в самом ли деле она в обмороке, как вдруг глаза ее открылись. Осмотревши всю комнату и видя, что никого нет, она поправила немного левую руку, на которую, видно, неловко легла, и расстегнула верхнюю пуговицу капота, открыв таким образом верхнюю часть своей роскошной груди, и снова, закрывши глаза, притворилась бесчувственной. Все эти проделки начинали тешить графа, и он решился еще ожидать, что будет дальше. Прошло около четверти часа, терпения не стало более у Клеопатры Николаевны.

– Где я? – произнесла она, приподымаясь с полу, как приподымаются после обморока в театрах актрисы, но, увидя, что по-прежнему никого не было, она проворно встала и начала подходить к зеркалу.

Граф, не ожидавший этого движения, не успел отвернуться, и глаза их встретились в зеркале. Сапега, не могший удержаться, покотился со смеху. Клеопатра Николаевна вышла из себя и с раздраженным видом почти вбежала в кабинет.

– Что это вы со мной делаете! Подлый человек! Развратный старичишка! Мало того, что обесчестил, еще насмехается! – кричала она, забывши всякое приличие и задыхаясь от слез.

– Тише! Тише, сумасшедшая женщина! – говорил граф.

– Нет, я не сумасшедшая, ты сумасшедший, низкий

человек!

– Тише, говорят, не кричите.

– Нет, я буду кричать на весь дом, чтобы слышала твоя новая любовница. – Последние слова она произнесла еще громче.

– Поди же вон! – сказал, в свою очередь, взбесившийся Сапега и, взявши вдову за плечи, повернул к дверям в гостиную и вытолкнул из кабинета, замкнувши тотчас дверь.

Х

На тех же самых днях, поутру, начальник губернии сидел, по обыкновению, таинственно в своем кабинете. Это уже был старик и, как по большей части водится, плешивый. Смолоду, говорят, он известен был как масон, а теперь сильно страдал ипохондрией. Слывя за человека неглупого и дальновидного, особенно в сношениях с сильными лицами, он вообще был из хитрецов меланхолических, самых, как известно, непроходимых.

Часов около двенадцати дежурный чиновник доложил:

– Полковник Мановский.

– Просите, – сказал губернатор с некоторою даже строгостью.

Задор вошел.

– Здравствуйте, полковник, – произнес губернатор, ласково указывая ему на стул. Тот сел и, видимо, был чем-то встревожен. Губернатор между тем устремил грустный взор на видневшуюся перед ним реку, тоже как-то мрачно взъерошенную осенним ветром.

– Какая погода скверная, – произнес он.

– Нехороша, – отвечал Мановский. – И меня вот третий день так ломает, черт знает что такое и отчего.

– Погода, поверьте, – решил губернатор.

Мановский на это вздохнул и, помолчавши, начал официальным тоном:

– Я к вам с просьбой, ваше превосходительство.

– Что такое? – спросил губернатор, несмотря на свою меланхолию, не совсем равнодушным тоном. Он давно уже слышал об ужасных неприятностях Мановского в семейной жизни.

– У меня жена убежала, – отвечал Михайло Егорыч с свойственной ему твердостью и резкостью, хотя в то же время все лицо его покрылось красными пятнами. – Целый год уже, – продолжал он, – она не только что не живет со мной в супружеском сожитии, но даже мы не видались с ней.

Губернатор грустно посмотрел на него.

– Несмотря на это, – снова продолжал Мановский, – я известился, что она находится в беременном состоянии, а потому просил бы ваше превосходительство об освидетельствовании ее через кого следует и выдать мне на то документ, так как я именем своим не хочу покрывать этой распутной женщины я желаю иметь с ней развод.

Губернатор думал.

– А где же ваша супруга теперь проживает? – спросил он вдруг, и вопрос этот озадачил немного Мановского.

– Она живет теперь в усадьбе графа Сапеги, – отвечал он.

– Живет уж? – повторил губернатор и позвонил. Вошел дежурный чиновник.

– Потрудитесь, любезный, принести мне от правителя конфиденциальное письмо графа Сапеги, запечатанное в пакете, – проговорил он кротчайшим голосом. Чиновник поклонился и вышел.

– А от графа есть письмо по моему делу? – спросил Мановский.

– Есть, – отвечал значительно губернатор и, чтобы не распространить далее разговора, начал опять грустно смотреть в окно. Чиновник принес дело. Губернатор, взяв от него, выслал его из кабинета и приказал поплотней притворить дверь.

– Это самое письмо и есть, собственной рукой графа написанное, – продолжал губернатор таинственным голосом. – Позвольте прочесть вам? – прибавил он.

Мановский кивком головы изъявил согласие.

Губернатор начал: – «Сверх чаяния, зажившись в губернии, вверенной управлению вашего превосходительства, я сделался довольно близким свидетелем одной неприятной семейной истории. Сосед мой, г. Мановский, в продолжение нескольких лет до того мучил и тиранил свою жену, женщину весьма милую и

образованную, что та вынуждена была бежать от него и скрылась в усадьбе другого моего соседа, Эльчанинова, молодого человека, который, если и справедливы слухи, что влюблен в нее, то во всяком случае смело могу заверить, что между ними нет еще такой связи, которая могла бы положить пятно на имя госпожи Мановской. Несмотря на это, местная полиция, подкупаемая варваром-мужем, производила совершенно выходящие из пределов их власти в усадьбе господина Эльчанинова обыски, пугая несчастную женщину и производя отвратительный беспорядок в доме. Прекратив все эти незаконные действия, я вместе с тем поставляю себе долгом уведомить о том и ваше превосходительство для надлежащего с вашей стороны распоряжения, которым вы удержите полицию от дальнейших ее притязаний и примете под непосредственное ваше покровительство несчастную женщину, в пользу которой все сделанное с вашей стороны я приму за бесконечное и собственно для меня сделанное одолжение».

При чтении этих строчек Мановский только бледнел.

– Что ж мне делать после того, ваше превосходительство? – проговорил он.

– А мне-то тоже что делать? – спросил губернатор.

– Поеду теперь, значит, в Петербург, – проговорил

Мановский, – и буду там ходатайствовать. Двадцать пять лет, ваше превосходительство, я служил честно. Я на груди своей ношу знаки отличия и надеюсь, что не позволят и воспретят марать какой-нибудь позорной женщине мундир и кресты офицера. – При последних словах у Михайла Егорыча навернулись даже слезы.

Губернатор развел руками и потупил голову.

– Самый лучший и единственный путь, – проговорил он.

– Я и на вас, ваше превосходительство, буду жаловаться, извините меня, – продолжал Мановский, уже вставая, – так как вы выдаете хоть бы нас, дворян, допуская в домах наших делать разврат кому угодно, оставляя нас беззащитными. Перед законом, полагаю, должны быть все равны: что я, что граф какой-нибудь. Принимая присягу, мы не то говорим перед крестом.

– Ваше дело будет жаловаться, а мое будет отвечать, – возразил на это губернатор с заметною сухостью, и Мановский, поклонившись ему гордо, вышел. Несмотря на свою свирепую запальчивость, он на этот раз себя сдержал, насколько мог, понимая, что губернатор не захочет да и не может даже ничего сделать тут. Выйдя из губернаторского дома и проходя бульваром, он, как бы желая освежиться, шел без

шапки и все что-то хватался за голову.

Остановился он на этот раз на квартире, как и всегда, у одного бедного приказного, который уже несколько десятков лет ко всему ихнему роду чувствовал какую-то рабскую преданность, за которую вознаграждаем был ежегодно несколькими пудами муки и еще кой-чем из домашнего запаса. Пришедши на квартиру, Мановский спросил себе обедать, впрочем, ничего почти не ел и все пил воду; потом прилег как бы соснуть, но не прошло и полчаса, как знакомый наш Сенька, вместо обычного барского крика: «Эй, малый!» – услышал какое-то мычание и, вошедши в спальню, увидел, что Михайло Егорыч лежал вверх лицом. При входе его он хотел, видно, встать, но вместо того упал на правую руку.

Сенька постоял немного, поглядел и, видя, что ничего ему не приказывают, опять ушел в свою маленькую прихожую.

– Хмелен, видно!.. Ловко, знать, где-то попало!.. Привстать-то даже не сможет, – решил он, мотнув головой.

Так прошло время до трех часов; хозяин-чиновник, возвратясь из должности, зашел, как делал он это каждодневно, на половину Михайла Егорыча, ради того, чтобы изъявить ему свое почтение, а другое, может быть, и для того, что не удастся ли рюмочку-дру-

гую выпить водочки, которая у Мановского была всегда отличная.

– А что, их милость дома или нет? – спросил он у Сеньки.

– Дома-то, дома, хмелен только, – отвечал тот.

– Ну, вот на здоровье; поживать, значит, теперь изволит.

– Бог его знает, спит не спит, а лежит да глазами только хлопает. Слышите, вон замычал.

– Ай, батенька, царица небесная! Да чтой-то это такое, поглядеть надо, – проговорил добряк и заглянул в спальню. Михайло Егорыч лежал вверх лицом сначала неподвижно, потом приподнял левой рукой правую, подержал ее в воздухе и отпустил; она, как плеть, упала на постель.

– Отцы мои! Да у него владения, знать, нет, – вскрикнул приказный, всплеснувши руками. – Отец мой! Михайло Егорыч! – произнес он, подходя к постели.

– Хмы! Хмы! Хмы! – мычал Мановский.

– Не сходить ли за доктором, Михайло Егорыч? Мановский мотнул головой.

– Сейчас, батюшка, – сказал добряк и выбежал. – Поди к барину-то, – произнес он Сеньке, пробегая лакейскую.

Вскоре приехавший с ним лекарь осмотрел Манов-

ского и велел ему пустить кровь и растирать правую сторону щетками.

– Что это такое, батюшка, что такое с благодетелем-то случилось? – спросил приказный, когда они вышли из спальни.

– Ничего, паралич, – отвечал мрачно и лаконически доктор и потом, севши на дрожки, проговорил сам с собою: – Скоты этикие, зовут и не платят.

Положение графа, в свою очередь, тоже становилось час от часу неприятнее. Конечно, ему писали из Петербурга, что Эльчанинов приехал туда и с первых же дней начал пользоваться петербургскою жизнью, а о деревне, кажется, забыл и думать, тем более что познакомился с Наденькой и целые вечера просиживал у ней; кроме того, Сапега знал уже, что и Мановский, главный враг его, разбит параличом и полумертвый привезен в деревню. Несмотря на все эти благоприятные извне обстоятельства, Сапега более и более терял надежду склонить Анну Павловну на свои искания. Горесть ее была так велика, так непритворна, что он даже никогда не решался намекнуть ей о любви своей, чему еще, надобно сказать, мешал и Савелий, оттолкнуть которого не было никакой возможности, а между тем Иван Александрыч пересказывал дяде всевозможные сплетни, которые сочинялись в Боярщине насчет его отношений к Анне Павловне. Тер-

пение Сапеги начинало ослабевать, роль бескорыстного покровителя решительно была не в его духе. Он начинал не на шутку скучать и досадовать. Он даже жалел, что расстался с Клеопатрой Николаевной, и решил было снова возобновить с ней прежние отношения, но вновь полученные письма из Петербурга изменили его планы. Ему писали, что, по приказанию его, Эльчанинов был познакомлен, между прочим, с домом Неворского и понравился там всем дамам до бесконечности своими рассказами об ужасной провинции и о смешных помещиках, среди которых он жил и живет теперь граф, и всем этим заинтересовал даже самого старика в такой мере, что тот велел его зачислить к себе чиновником особых поручений и пригласил его каждый день ходить к нему обедать и что, наконец, на днях приезжал сам Эльчанинов, сначала очень расстроенный, а потом откровенно признавшийся, что не может и не считает почти себя обязанным ехать в деревню или вызывать к себе известную даму, перед которой просил даже солгать и сказать ей, что он умер, и в доказательство чего отдал послать ей кольцо его и локон волос. Прочитав эти известия, даже граф удивился.

– Ах, какой дрянной и ветреный мальчишка! – проговорил он.

Чтоб оправдать хоть сколько-нибудь моего героя,

я должен упомянуть здесь об одном обстоятельстве. Вскоре после его приезда в Петербург Клеопатра Николаевна писала ему:

«Добрый друг!

Не могу удержаться, чтобы не известить вас об одном, конечно, неприятном для вашего сердца случае, но призовите, добрый друг, на помощь религию, ваш рассудок и будьте благоразумны. Женщина, которую вы любите, не стоит того. Ах! Если б вы знали, как мне тяжело это сказать! Она на другой же день переехала к графу и теперь очень спокойно живет у него. Нужно ли говорить, в каких они отношениях? Теперь очень понятно поведение этого ужасного старика. Как можно теперь верить женщинам! Мы еще иногда обвиняем мужчин, но они против нас просто ангелы. Услышавши, что эта особа переехала в Каменки и еще кой-что, я решилась сама убедиться в том и поехала к графу, но жестоко была наказана за мое любопытство. Когда я вошла в гостиную, то увидела совершенно аркадскую сцену, от которой ужас овладел мною, и я тотчас уехала. Не огорчайтесь и не отчаивайтесь, добрый друг! Вы мужчина, должны быть тверды, должны забыть недостойную. Я очень боюсь, чтобы вы не предприняли чего-нибудь решительного и не захотели бы кровью отметить коварному вашему покровителю. Конечно, он стоит смерти, но поберегите себя

хоть для меня, если по-прежнему считаете меня вашим другом.

Любившая и любящая вас Cleopatre».

Эльчанинов, получивший это письмо и желавший в душе, чтобы это было так, поверил всему безусловно. Считая потом себя вправе окончательно отказаться от этой женщины, нагнал при этом случае, сколько только возможно нагнать. Граф между тем рассуждал сам с собой: «Что делать?.. Объявить ли Анне Павловне о мнимой смерти Эльчанинова, раскрыть перед нею страшную перспективу бедности, унижения и обещать ей все это исправить при известных условиях? Неужели же эта женщина скорее решится умереть с голоду, чем приневолить себя полюбить его? Конечно, благоразумие требовало бы некоторой постепенности, надобно, чтоб она привыкла к мысли, что для нее более не существует любимый человек; но, может быть, это продолжится еще долго», – заключил граф и принял намерение действовать, не отлагая времени и решительно. Следующая же ночь была избрана для того, потому что Савелий только на это время и оставлял Анну Павловну одну и уходил спать в отдаленную комнату.

С приближением решительной минуты графом начало живе и живе овладевать беспокойство. Рассудок говорил о безрассудной его дерзости, советовал

повыждать для более верного успеха; но известен закон, что самые запальчивые и безрассудные люди в любви – это старики и молодые юноши. Когда пробило на часах двенадцать и все в доме, казалось, улеглось и заснуло, Сапега вышел из кабинета, почти бегом пробежал коридор и тихонько отворил дверь в спальню Анны Павловны. Ночная лампада слабо освещала комнату, и только ярко блестел золотой оклад старинной иконы. Граф невольно отвернул глаза от образа и взглянул на кровать: Анна Павловна крепко спала; на бледном лице ее видна была улыбка, как будто бы ей снились приятные грезы; из-под белого одеяла выставлялась почти до плеча голая рука, несколько прядей волос выбивались из-под ночного чепчика. Этого было достаточно, чтобы графа остановило всякое другое чувство. Он быстро подошел к кровати и поцеловал спящую Анну Павловну в лоб. Она открыла глаза и болезненно вскрикнула.

– Тише, бога ради, тише, – начал граф, – я пришел к вам говорить, я буду говорить о Валерьяне Александрыче, я о нем вам скажу.

Анна Павловна не могла еще опомниться.

– Я сейчас получил о Валерьяне Александрыче известие, я хочу с вами говорить, – продолжал торопливо Сапега.

– О Валере?.. Вы от Валера получили письмо? Он

меня, верно, зовет, – сказала Анна Павловна, приподымаясь. – Покажите мне письмо, дайте мне поскорее. Боже! Неужели это правда? Дайте, где оно у вас? – И она хватала графа за руки.

– Позвольте мне сесть около вас, – сказал тот, садясь на кровать.

– Дайте мне письмо! Здоров ли Валер? Дайте поскорее.

– Хорошо, хорошо, – отвечал Сапега, – только вы прежде скажите мне, за что вы его так любите?

– Граф! – воскликнула уже со слезами бедная женщина. – Вы терзаете меня, вы злой человек, я не хочу с вами говорить.

– Нет, Анна Павловна, я должен с вами говорить, – произнес с твердостью Сапега, уже овладевши собою.

– Покажите мне письмо Валера.

– Покажу, но прежде позвольте мне сказать вам хоть несколько слов о себе. Знаете ли, как я вас люблю, как я страдал за вас; вы ничего этого не видите, вы не чувствуете даже ко мне благодарности.

– Я благодарна вам.

– Нет, и этого нет: вы только опасаетесь и почти ненавидите меня. Вы не понимаете, чего мне стоило покровительство вашему любимцу, когда я сам в вас влюблен. Поставьте себя хоть на минуту в мое поло-

жение.

– Граф!..

– Дайте мне договорить: я целые полгода скрывал себя, я обрек себя на полное самоотвержение. Любя вас, я покровительствовал вашей любви к другому человеку, потому что думал, что в этой любви ваше счастье.

– Я буду вам вечно признательна, граф, – покажите мне письмо.

– Еще два слова: я думал, что если она и не любит меня, то по крайней мере благословит когда-нибудь мою память, но бог не дал мне и этого: я не сделал вас счастливою, я обманулся, как обманулись и вы. В этой любви ваша гибель, если только вы сами не будете благоразумны.

– Граф, выйдите вон! – сказала Анна Павловна с какой-то несвойственной твердостью. – Вы нарочно сюда пришли, выйдите, иначе я закричу, вы обманываете меня, вы не получили письма.

– Извольте, я уйду, но только я получил письмо, – отвечал хладнокровно Сапега и встал.

– Пойдите! – вскричала Анна Павловна, останавливая его рукою. – Покажите мне письмо, бога ради, покажите!

– Поцелуйте меня за это, так и покажу, – проговорил Сапега как бы с отеческою улыбкою.

– Извольте, я буду целовать, сколько хотите, – отвечала Анна Павловна и сама, обняв его шею руками, начала торопливо целовать.

У графа опять кровь бросилась в голову, он обхватил ее за талию, целовал ее шею, глаза... Анна Павловна поняла опасность своего положения. Чувство стыда и самосохранения, овладевшее ею, заставило забыть главную мысль. Она сильно толкнула графа, но тот держал ее крепко.

– Помогите! – вскрикнула бедная женщина.

– Не кричите или вы погибли, – начал шепотом Сапега. – Я вас оставлю одну, на нищету, на позор, забуду мою любовь и предам вас мужу. Любовник ваш умер, вот известие о его смерти, – прибавил он и выбросил из кармана особо присланное письмо поверенного, извещавшее о смерти Эльчанинова. Все забывшая, Анна Павловна схватила его, развернула, и при этом выпали кольцо и волосы Эльчанинова. Прочитав первые же строки, бедная женщина что-то приостановилась. Граф с невольным удивлением взглянул ей в лицо, на котором как бы мгновенно изгладилось всякое присутствие мысли и чувства: ни горя, ни испуга, ни удивления – ничего не было видно в ее чертах; глаза ее, взглянув на икону, неподвижно остановились, рот полураскрылся, опустившиеся руки вытянулись.

– Анна Павловна, что с вами? – спросил Сапега, взяв ее за руку.

Ответа не было.

– Господи! Что с вами? Анна Павловна, придите в себя, перекреститесь! – продолжал он испуганным тоном, поднимая ее руку и складывая пальцы в крест.

– Дайте мне письмо, дайте, – проговорила больная каким-то странным голосом.

– Письмо у вас, но вы ему не верьте, это все ложь. Эльчанинов жив, он только изменил вам, но я заставлю его силой полюбить вас, если вы этого хотите! Но только теперь, бога ради, прилягте, успокойтесь, – говорил окончательно растерявшийся старик, взяв Анну Павловну за плечи и стараясь уложить ее.

– Прочь! – закричала она раздирающим голосом, сильно толкнув Сапегу в грудь. – Мне душно! Жарко! – кричала она. Граф тут только догадался, что Анна Павловна помешалась.

– Душно! Жарко! – продолжала она кричать, метаясь по кровати. – Ох, душно!

Граф дрожал всем телом, ужас, совесть и жалость почти обезумели его самого. Он выбежал из комнаты, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, но вместо того прошел в свой кабинет и в изнеможении упал на диван. Ему все еще слышалось, как несчастная кричала: «Душно! Жарко!» Сапега зажал себе уши. Про-

шло несколько минут, в продолжение которых криков не было слышно.

– Она умерла! – проговорил он и, вскочивши с дивана, что есть силы начал звонить в колокольчик; вбежал полусонный камердинер.

– Вели... беги... постой... Я слышал в комнате Анны Павловны крик, поди, попроси Савелия Никандрыча сюда. Нет, – говорил Сапега, но в это время снова раздался крик, и он опять упал на диван и зажал уши. Ничего не понимавший камердинер не трогался с места.

– Пошли, говорят тебе, Савелия Никандрыча, – произнес взбешенным голосом граф.

Камердинер вышел и скоро возвратился со свечою.

– Савелий Никандрыч у Анны Павловны, – проговорил он.

– Что с ней, что она? – спросил дрожащим голосом Сапега.

– Не могу доложить, ваше сиятельство, должно быть, хуже, Савелий Никандрыч укладывают их в постель.

Крики снова раздались.

– Господи, сохрани ее! – воскликнул граф. – Послушай, теперь можно ехать.

– Куда, ваше сиятельство?

– В Петербург; вели готовить лошадей, я сей-

час еду в Петербург.

Камердинер стоял в недоумении.

– Сейчас еду, – повторил граф, – вы приедете после. Вели готовить лошадей.

Камердинер вышел.

Оставшись один, граф подошел к рабочему бюро и взял было сначала письменный портфель, видно, с намерением писать; но потом, как бы что-то вспомнив, вынул из шкатулки пук ассигнаций и начал их считать. Руки его дрожали, он беспрестанно ошибался. Вошел камердинер, и граф, как пойманный школьник, поспешно бросил отсчитанную пачку опять назад в шкатулку.

– Вам угодно переодеться? – спросил тот.

– Приготовь.

Камердинер вышел.

Сапега вынул из портфеля лист почтовой бумаги и написал скорее какими-то каракулями, чем буквами:

«Мой любезный Савелий Никандрыч! Нечаянное известие заставляет меня сию минуту ехать в Петербург. Я слышал, что Анне Павловне хуже, посылаю вам две тысячи рублей. Бога ради, сейчас поезжайте в город и пользуйте ее; возьмите мой экипаж, но только не теряйте времени. Я не хочу больную беспокоить прощаньем и не хочу отвлекать вас. Прощай-

те, не оставляйте больную, теперь она по преимуществу нуждается в вашей помощи. Эльчанинов оказался очень низким человеком.

Сапега».

Граф торопливо свернул письмо, вложил в конверт и запечатал.

– Лошади готовы-с, – сказал вошедший камердинер.

Сапега проворно переоделся в дорожное платье.

– Отдай это письмо Савелию Никандрычу, – сказал он, подавая ему пакет, – и вели управителю дать ему мой экипаж, он с больной скоро уедет. Вы соберитесь послезавтра.

Эти слова граф говорил, уже проходя залу и последующий камердинером, который нес за ним шкатулку и портфель. Лестницу Сапега пробежал бегом.

– Постойте, ваше сиятельство, – раздался голос сверху. – Скажите, жив или нет Валерьян Александрыч?

– Жив, – отвечал граф. – Пошел! – крикнул он, и экипаж помчался.

На крыльце остался бледный Савелий, в руках у него было письмо Эльчанинова, найденное им на постели больной.

– Его сиятельство приказали вам отдать письмо! –

сказал камердинер, подавая ему письмо графа.

– Куда уехал граф?

– В Петербург.

– Анна Павловна очень тоскует, – слышался голос горничной.

Савелий бросился в комнаты.

XI

Савелий снова поселился в своем домике. Вместе с ним жила больная и помешанная Анна Павловна. Граф, растерявшийся, как мы видели, вконец, написал к Савелью письмо, в котором упоминал о деньгах, но самые деньги забыл вложить. Савелий, пораженный припадком безумия Анны Павловны, потом известием о смерти Эльчанинова, нечаянным отъездом самого графа и, наконец, новым известием, что Эльчанинов жив, только на другой день прочитал это письмо и остался в окончательном недоумении. Он начал было спрашивать людей, не оставил ли кому-нибудь граф, но те отвечали, что его сиятельство приказали только приготовить экипаж для отъезда Анны Павловны, куда ей будет угодно. Поступок графа крайне удивил его. «Он, верно, был ночью у Анны Павловны и показал письмо о смерти Эльчанинова, а теперь, когда она помешалась, он бежал, будучи не в состоянии выгнать ее при себе из дома; но как же в деньгах-то, при его состоянии сподличать, это уж невероятно!..» Подумав, Савелий в тот же день потребовал экипаж и перевез больную к себе в Ярцово.

Флигелек его разделялся на две половины, в одной из них жил его мужик с семейством и пускались по

зимам коровы и овцы, а другую занимал он сам. Последняя была, в свою очередь, разгорожена на две комнатки – на прихожую и спальню, в которой он поместил больную.

Прошла неделя, Анне Павловне было все хуже. Савелий сидел, облокотясь на деревянный некрашенный стол и понурился головой. Боже! Как изменился он с тех пор, как мы в первый раз с ним встретились: здоровый и свежий цвет лица его был бледен, густые волосы, которые он прежде держал всегда в порядке, теперь безобразными клочками лежали на голове; одет он был во что попало; занятый, как видно, тяжелыми размышлениями, он, впрочем, не переставал прислушиваться, что делалось в соседней комнате. Наконец, двери оттуда тихо отворились: вышла баба в нагольном тулупе и ситцевом повойнике.

– Что, Аксинья? – спросил Савелий.

– Мечется, сердечная, больно, – отвечала та.

– Что-то Кузьма, скоро ли приедет? – проговорил Савелий.

– Ну, где еще скоро, поди, чай, дешево дают. Только мне жаль больно, Савелий Никандрович, кобылу-то: корова пускай, нешто, плоха была к молоку, кобылы-то больно жаль, славная была и жереба еще к тому.

– Ну, что тут вздор жалеть, лекарь бы только приехал.

– Ох, уж вы с вашими лекарями-то: ну, что опомнись: постоял, да и уехал, а еще красненькую дали.

– Холодной водой хотел попробовать обливать, – проговорил Савелий как бы сам с собою.

– Вон еще, холодной водой обливать, словно пьяного мужика, – подхватила баба. – Послушались бы меня, отслужили бы учетный молебен: ей вчерась, после причастья, словно полегче стало. Отец Василий больно вон горазд служить. Я спосылаю парнишку.

– Спосылай! – отвечал Савелий.

Баба ушла, воротилась и опять прошла в спальню. Савелий все сидел, не переменяя своего положения; наконец, Аксинья снова вышла.

– Батюшка, Савелий Никандрыч, – начала она, – голубушка-то наша что-то больно уж тяжело дышит и ручки вытянула, уж не кончается ли она?

Савелий вскочил и торопливо вошел в спальню. Аксинья последовала за ним.

Больная лежала вверх лицом, глаза ее были закрыты, безжизненное выражение лица безумной заменилось каким-то спокойствием. Она действительно тяжело дышала. Савелий приблизился и взял ее за руку, больная взмахнула глазами: Савелий едва не вскрикнул от радости, в глазах ее не было прежнего безумия.

– Анна Павловна! Узнали ли меня? – спросил он.

Но она только ласково улыбнулась и, ничего не от-

ветив, снова закрыла глаза. Бог судил ей в последний раз прийти в себя и посмотреть на истинно любящего ее человека. Дыхание ее стало учащаться, лицо более и более бледнело.

Приехал священник и вместо учетного молебна начал читать отходную. Через несколько минут она скончалась. Акси́нья завывала во весь голос, священник, несмотря на привычку, прослезился. Окончив отходную, он отер глаза бумажным платком и в каком-то раздумье сел на стул. Савелий стоял, прислонясь к косяку, и глядел на покойницу.

– Умерла она, батюшка? – спросил он священника.

– Померла, сударь, прияла успокоение, – отвечал священник. – Сном праведника почила, на редкость у младенцев такая тихая кончина.

– Холоднешенька, моя родная, – говорила Акси́нья, щупая руки умершей и заливаясь слезами.

Савелий вышел в другую комнату и сел на прежнее место. Акси́нья ушла позвать на помощь соседок, обряжать покойницу. Священник зажег несколько восковых свечей и начал кадить ладаном.

Вошел воротившийся Кузьма.

– Лекарю-то некогда, к нему какой-то генерал приехал, так, слышь, все и сидит у него, – сказал он после минутного молчания, видя, что барин ничего его не спрашивает.

– А продал ли, что я велел? – спросил, наконец, Савелий.

– Продал, Савелий Никандрыч, да только дешево дали, за обеих-то семьдесят пять рублей. – С этими словами он положил деньги на стол.

– Довольно на похороны? – спросил Савелий священника.

– Да ведь как повернете? Надо полагать, что довольно.

Савелий вздохнул.

В Могилках тоже были слезы. В той же самой гостиной, в которой мы в первый раз встретили несокрушимого, казалось, физически и нравственно Михайла Егорыча, молодцевато и сурово ходившего по комнате, он уже полулежал в креслах на колесах; правая рука его висела, как плеть, правая сторона щеки и губ отвисла. Матрена, еще более пополневшая, поила барина чаем с блюдечка, поднося его, видно, не совсем простывшим, так что больной, хлебнув, только морщился и тряс головой.

– Что поп?.. Помолится, – проговорил намеками Михайло Егорыч.

– Послали, батюшка... не замешкают, приедут, – отвечала Матрена. – Похороны, слышь, у них сегодня! – прибавила она, вздохнув.

– Чьи? – намекнул Михайло Егорыч.

Матрена некоторое время медлила.

– Нашей Анны Павловны, батюшка, – ответила, наконец, она.

Мановский вдруг заревел на весь дом.

– Батюшка! Да о чем это? Что это, полноте...

– Мне жаль ее, – промычал явственно Мановский и продолжал рыдать.

Пришли священники и стали служить всенощную. Михайло Егорыч крестился левой рукой и все что-то шептал губами, а когда служба кончилась, он подзвал к себе Матрену, показал ей рукой на что-то под диван. Та, видно, знавшая, вынула оттуда железную шкатулку.

– Топри, топри, – бормотал Михайло Егорыч.

Матрена отперла ключом, навязанным на носовом платке барина. Мановский вынул левой рукой пук асигнаций и подал священнику.

– Ради чего это? – спросил тот Матрену.

– За покой души! Памятник!.. – намекнул Мановский.

– Чьей, сударь, души? – спросил священник.

– Аннушки! Мне жаль ее, – промычал Михайло Егорыч и опять заревел.

XII

Прошел год после смерти Анны Павловны. Предводительша возвратилась из Петербурга; Боярщина еще чаще стала ездить в Кочарево. Возвратившаяся хозяйка принимала гостей по большей части в диванной, которую она в последнее время полюбила перед прочими комнатами, потому что меблировала ее привезенною из Петербурга премиленькой мебелью.

Однажды вечером она полулежала на маленьком диване; это была очень еще нестарая дама, искренне или притворно чувствительная и вечно страдавшая нервами, в доказательство чего, даже в настоящую минуту, она держала флакон с одеколоном в руках. Около ее ног на креслах помещался старый ее супруг, с какой-то собачьей преданностью смотревший ей в глаза. Из гостей были самые частые их гости: Симановская с мужем, Уситкова в своем бессменном блондовом чепце и, наконец, сам Уситков, по загорелому и красному цвету лица которого можно было догадаться, что он недавно возвратился из дальней дороги.

– Наконец, вы поместили вашего ребенка, – сказала хозяйка, обращаясь к нему, и он разинул уже было рот, чтобы отвечать, но жена перебила его.

– Ничего бы ему не поместить, кабы не граф и не

мои к нему просьбы, – проговорила она.

– А вы видели графа? – спросила предводительша Уситкова.

– Видел-с, как же: постарел очень, узнать нельзя, говорит, что, как приехал из деревни, все хворает: простудился.

– А еще кого-нибудь из наших знакомых не видали ли? – спросила молоденькая Симановская, имевшая склонность по известному свойству характера знать как можно больше и больше.

– Да кого еще из знакомых-то, – отвечал с расстановкою Уситков. – Эльчанинова видел, – прибавил он.

– Что ж он там делает? – спросил хозяин.

– Сочинителем сделался, сочинения, говорит, пишет... только в тонких, кажется, обстоятельствах: после третьего же слова денег попросил взаймы... – отвечал Уситков.

– Эльчанинова? – повторила хозяйка, прищурив глаза и обращаясь к мужу. – Не о нем ли, папаша, ты писал ко мне, еще какое-то романическое приключение, что-то такое, он увез кого-то, женился, что ли?

– Да, у Задор-Мановского жену увез.

Предводительша произнесла: «А!» – и с каким-то особым выражением сжала губы.

– Что, господа, не видали ли кто Михайло Егорыча? – продолжал старик, обращаясь к гостям.

– Я на днях заезжал и видел, – отвечал Симановский, – жалко смотреть-то стало: из этакого сильного мужчины сделался какой-то малый ребенок.

– Бог знает, что делает! – произнесла Уситкова, качнув головой. – Хотя, конечно, – прибавила она, – по милости женушки в таком положении.

– Что ж ему женушка сделала? – спросила предводительша.

– Как, Софья Михайловна, помилуйте, что сделала? – возразила Уситкова почти обиженным голосом. – Осрамила на весь мир; ну, человек с амбицией – не вынес этого и свалился, хотя опять-таки скажу: бог знает, что делает.

– Где ж теперь она? – спросила хозяйка.

– Она и сама, бедненькая, умерла, – отвечала грустным голосом Симановская.

– Очень бедненькая! Как этаких бедненьких жалеть, так жалости не достанет. Была в связи с Эльчаниновым, тот бросил, подделалась к графу, а тут и к лапотнику перешла! – произнесла Уситкова.

– Нет, нет, – перебила Симановская, – что у графа и у Савелия она жила, лишившись рассудка, это я на-верное знаю.

– Да ведь и я тоже знаю, не моложе вас и, может быть, поопытней, – возразила Уситкова.

– У вас никто и не перебивает вашего права, – воз-

разила Симановская.

– Она тут, у этого бедняка Савелия, и умерла? – перебила их хозяйка, обращаясь к Симановской.

– Тут и умерла, – отвечала та.

Предводительша вздохнула.

– Незадолго до моего отъезда из Петербурга одна девушка умерла решительно от любви, – произнесла она, и разговор на некоторое время прекратился.

– Про графа, кажется, тут пустяки говорили... – начал было хозяин.

– Неужели еще он думает нравиться женщинам? – перебила его стремительно и с некоторым негодованием предводительша.

– Как же, – отвечал старик, – он и за нашей Клеопашей ухаживал.

– Неужели? Ах, это мило! Что ж она?

– Конечно, мазала по губам.

– Ах да, она ужасная шалунья в этих случаях, не все имеют такие легкие характеры, – произнесла хозяйка и опять вздохнула.

– Клеопатра Николаевна, при всей своей веселости, женщина с правилами, – начала Уситкова, имевшая привычку и хвалить и бранить человечество резко, где, по ее расчетам, было это нужно. – Я недавно была у нее целый день и не могла налюбоваться, как она обращается с своей дочерью: что называет-

ся и строго и ласково, как следует матери, – прибавила она, чтоб угодить хозяевам, но предводительша не обратила никакого внимания на ее слова, потому что терпеть ее не могла, испытав на собственном имени остроту ее зубов.

– Меня все занимает это романтическое приключение, – начала она. – Где ж этот Савелий? Я у тебя, Alexis, его не вижу, отчего он не ходит к тебе?

– В службу, милушка, ушел, на Кавказ, – отвечал предводитель, – едва и дворянство-то ему выхлопотали.

– Славный будет служака, – заметил Уситков.

– Малый здоровый, пешком ушел на Кавказ-то, – произнес Симановский, пожившись от непрерывной ревматической ломоты в сухих своих ногах.

– Пешком? Ах, бедненький, ему, верно, не на что было ехать, – произнесла предводительша и покачала головой.

Примечания

Впервые роман напечатан в «Библиотеке для чтения» за 1858 год (кн. I и II).

Это первое крупное произведение Писемского имеет сложную творческую историю. Но восстановить ее ввиду отсутствия рукописей можно лишь в самых общих чертах.

Замысел «Боярщины» сложился, по-видимому, еще в студенческие годы писателя. Работа над романом продолжалась примерно с 1844 по 1846 год. Косвенным свидетельством этого является то разноречие в датах окончания «Боярщины» которое допускал сам Писемский. В «Библиотеке для чтения» он поместил «Боярщину» датой: «1844, сентября 30. Москва»; в издании Стелловского – уже иная дата: «1845 года. Сентября 30. Москва», – а в письме к переводчику В.Дерели – третья: «первая повесть, мною написанная еще в 1846 году, была «Боярщина»²⁰. В своей автобиографии Писемский также указывает на 1846 год как на год окончания «Боярщины».

Этот разнобой в датировке не является результа-

²⁰ А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 390. Писемский постоянно колебался в определении жанра «Боярщины», называя ее то романом, то повестью.

том ошибок памяти. Скорее всего в нем отразилось отношение Писемского к различным стадиям работы над романом. Его первый вариант был написан, вероятно, еще в 1844 году. Подтверждение этому можно видеть в том, что герой романа «Люди сороковых годов» Павел Вихров, образ которого, по свидетельству самого Писемского, во многом является автобиографичным, еще на студенческой скамье сочинил резко обличительную повесть, горячо одобренную его товарищами. Летом и осенью 1845 года Писемский был в Москве. Очевидно, работа над повестью за истекший год не останавливалась. И то, что Писемский прочел своим московским друзьям, теперь, по-видимому, отличалось от слышанного ими год назад. Отсюда датировка повести 1845 годом.

Во время пребывания Писемского в Москве с «Боярщиной» ознакомился С.П.Шевырев. На основании его замечаний она была еще раз переработана. «Повесть мою: «Виновата ли она?» – я, сообразно с вашими замечаниями, значительно изменил, – сообщал Писемский Шевыреву в письме от 13 марта 1847 года, – а именно: смягчил и облагородил, по возможности, многие сцены; а главное, обратил внимание на характер Ваньковского (мужа моей героини) и, если можно так выразиться, очеловечил его: Ваньковскому не удастся уже произвести над женою следствия, по-

вредить Шамилову; ему противодействует князь. Он бесится, страдает, пьет, вследствие последнего обстоятельства делается болен, и он уже жалок, хоть и ужасен». ²¹

Сообщенные здесь подробности позволяют судить, каков был роман в том варианте, который послался на отзыв Шевыреву, то есть в варианте 1845 года. В этой первой редакции роман – резко обличительное произведение в духе гоголевской реалистической школы. Не случайно Шевырев, ярый противник «натуральной» школы, потребовал «смягчения» обличительного пафоса романа, «очеловечения» главного персонажа – Ваньковского (в печатном варианте – Задор-Мановский).

В письме к Шевыреву Писемский высказал желание напечатать свой роман в одном из петербургских журналов: «Отечественных записках», «Современнике» или «Библиотеке для чтения» – и просил Шевырева помочь ему осуществить это желание. Послать роман прямо в редакцию одного из этих журналов он

²¹ А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 24. «Винувата ли она?» – первоначальное заглавие романа. Оно было заменено новым – «Боярщина» – лишь в 1858 году при подготовке текста романа для публикации в «Библиотеке для чтения». Старое заглавие этого романа было присвоено Писемским другому своему произведению – повести «Винувата ли она?», напечатанной в «Современнике» за 1855 год (см. наст. том, стр. 214).

не решился, боясь, что его «даже не прочтут». Лишь через год роман был послан московскому представителю редакции «Отечественных записок» А.Д.Галахову, который переслал его издателю журнала А.А.Кравевскому. Но даже в переработанном, «облагороженном» виде он не был пропущен цензурой.

Получив в ноябре 1850 года от Галахова запрещенный цензурой роман, Писемский предпринял попытку напечатать его в Москве. 26 декабря 1850 года он писал А.Н.Островскому: «Вот еще к вам одна моя просьба: вы, может быть, помните мою повесть: «Виновата ли она?» – Ее не пропустила петербургская цензура; но я отчасти переделаю ее, т. е. переменю заглавие, уничтожу резкие сцены; не пропустят ли ее в Москве. Я готов ее напечатать, где вам угодно, – в вашем альманахе, в Москвитянине, но только бы она не валялась; мне ее жаль, хотя я немного из нее и вырос»²². Однако роман и на этот раз не увидел света. Вероятнее всего, Писемский отказался от нового уничтожения «резких сцен», в результате которого роман утратил бы всякий смысл.

Писемский, отказавшись от мысли опубликовать роман, широко использовал его материалы в последующих своих произведениях. Причем использование зачастую носило характер простого перенесе-

²² А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 31.

ния целых эпизодов. Это и побудило Писемского при опубликовании «Боярщины» в «Библиотеке для чтения» дать следующее примечание: «Роман этот был мною написан десять лет тому назад. Не печатая его тогда, я смотрел на него как на материал и заимствовал из него для другого моего романа – «Богатый жених» одну или две сцены, которые в настоящем случае изменять и вообще маскировать это дело я не считаю себя вправе»²³. Однако журнальный текст «Богатого жениха» свидетельствует о том, что дело не ограничилось несколькими эпизодами. Один из центральных персонажей «Богатого жениха», Шамилов, был взят из романа «Боярщина», и даже в сильно переработанном для издания Стелловского тексте «Богатого жениха» Шамилов имеет много общего с Эльчаниновым. Другие персонажи «Богатого жениха» в журнальном тексте также непосредственно связаны с сюжетной схемой «Боярщины». Князь Сецкий в журнальном тексте не ревизующий сенатор, каким он показан в тексте издания Стелловского, а, подобно графу Сапеге, приехавший на отдых богатый помещик. В журнальном тексте «Богатого жениха» был племянник князя – Иван Александрыч, характеристика которого целиком совпадает с характеристикой Ивана Александрыча Гуликова из «Боярщи-

²³ «Библиотека для чтения», 1858, т. CXVII, кн. 1, стр. 1.

ны». Эти совпадения в тексте двух произведений вызвали позднее, при подготовке издания Стелловского, необходимость переработки «Богатого жениха».

Что касается романа «Боярщина» («Виновата ли она?»), то он, как это можно судить на основании признаний Писемского, перед печатанием в «Библиотеке для чтения» был еще раз переработан. «Денежная необходимость, – писал он Островскому, – заставила меня вспомнить мой первый роман «Виновата ли она?» Я прочитал его совершенно, как чужое произведение – и он мне понравился: мне уже теперь с таким запалом не написать – много, конечно, в нем совершенно драло мои уши, как, например, вся похабщина, которую я где совсем вырвал, где смягчил, не веря, впрочем себе, стал читать редакторству и критикам – все хвалят и «Библиотека для чтения», если только Фрейганг пропустит... дает мне за него 3000 рублей сереб. – сумма, которая меня обеспечит более, чем на год, и даст мне хоть некоторое время не думать о проклятых деньгах».²⁴

То, что в этой оценке своего первого крупного произведения Писемский отметил прежде всего молодой «запал», позволяет предполагать, что он теперь, в 1857 году, обратился не к той редакции «Боярщины», которая сложилась в 1846 году в результате перера-

²⁴ А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 109.

ботки по советам и замечаниям Шевырева, а к более ранней – 1844—1845 годов. Этим, на наш взгляд, и объясняется дата окончания повести; 30 сентября 1844 года, – которая поставлена под текстом первой публикации «Боярщины» в «Библиотеке для чтения». На самом деле, если сравнить печатную редакцию повести с той редакцией, которая охарактеризована и отчасти изложена в цитированном выше письме к Шевыреву, то нетрудно заметить разницу между ними. В письме говорится о том, что «очеловеченному» Ваньковскому (в печатном тексте – Задор-Мановский) не удастся уже произвести над женою следствие; ему противодействует князь «. В печатном тексте «Боярщины» (глава V, часть вторая) описывается как раз следствие, производимое исправником по прошению Задор-Мановского. От личной встречи со следователем Анну Павловну спасает не князь, а Савелий. Задор-Мановскому не удастся вследствие противодействия графа Сапеги добиться лишь врачебного освидетельствования якобы забеременевшей Анны Павловны. Далее. В письме к Шевыреву сообщается, что Ваньковский «бесится, страдает, пьет, вследствие последнего обстоятельства делается болен, и он уже жалок, хоть и ужасен». В печатной редакции Задор-Мановский вовсе не впадает в запой. В десятой главе второй части, как бы специально в опровер-

жение редакции 1846 года, рассказывается, что после неудачного визита к губернатору Задор-Мановский «ничего почти не ел, а всепил воду». Заболевает он не от запоя, как это было в редакции 1846 года: в результате сильного раздражения его разбил паралич. Все это не имеет ничего общего с тем «очеловечением» мужа Анны Павловны, о котором читаем в письме к Шевыреву. В печатной редакции перед нами не обиженный муж, впавший в запой от тоски по жене, а деспот, обдуманно преследующий «распутную» жену, решивший (если уже нельзя сделать с ней ничего более жестокого) развестись с ней. «Человечность» же разбитого параличом Задор-Мановского только еще более подчеркивает его бесчеловечность в «нормальном» состоянии. Это как раз такой образ, который не мог не вызвать осуждения Шевырева, то есть образ, еще не подвергнутый переделке по советам закоренелого противника гоголевской реалистической школы.

В письме к Шевыреву Писемский указывает еще на одну деталь, введенную в текст для того, чтобы «смягчить и облагородить» роман: противодействие князя Ваньковскому. Трудно судить, как развивалось это противодействие в редакции 1846 года, но в печатной редакции романа это «противодействие» не только не «смягчает» общего мрачного колорита, а, наобо-

рот, еще больше сгущает краски.

Сопоставление печатной редакции «Боярщины» с редакцией, которая охарактеризована в письме к Шевыреву, позволяет также сделать вывод, что образ князя Сецкого в «Богатом женихе» непосредственно связан с образом князя из романа «Боярщина» в редакции 1846 года. Кроме того, это сопоставление указывает на более тесную связь «Боярщины» в редакции 1846 года с напечатанной в 1855 году в «Современнике» повестью «Виновата ли она?». В композиции последней Иван Кузьмич Марасеев занимает место, сходное с местом Ваньковского (Задор-Мановский в печатной редакции), и переживает ту же эволюцию, какая пересказана в письме к Шевыреву. Он действительно пьет и «вследствие последнего обстоятельства делается болен», а потом даже примиряется с женой.

Таким образом, история создания первого крупного произведения Писемского представляется в таком виде: в 1844—1845 годах была написана первая его редакция, выдержанная в духе «натуральной» школы. Под влиянием критики Шевырева в 1846 году роман был переработан, в результате чего критическая заостренность некоторых образов была в известной мере притуплена. Из редакции 1846 года Писемский и брал материалы для «Богатого жениха» и отчасти для

повести «Виновата ли она?». Перерабатывая «Боярщину» для «Библиотеки для чтения», Писемский вернулся к редакции 1844—1845 годов. Поэтому «Боярщина» в печатной редакции достаточно полно характеризует начало творческого пути Писемского.

При подготовке «Боярщины» для издания Стелловского Писемский ограничился лишь стилистической правкой, не внося в текст повести сколько-нибудь существенных изменений.

«Боярщина» в отличие от большинства крупных произведений Писемского, опубликованных в 50-х годах, не обратила на себя внимания критиков. Это произошло прежде всего потому, что общественные вопросы, затронутые в ней, были с достаточной полнотой и убедительностью поставлены и освещены в произведениях Писемского, опубликованных еще в первой половине 50-х годов. Даже Д.И.Писарев, иногда склонный преувеличивать общественное значение творчества Писемского, в своей статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» как бы мимоходом упоминает всего лишь об одном персонаже «Боярщины» — об Эльчанинове. Свою характеристику отношения Писемского к типу «лишнего» человека Писарев основывает на анализе образа Шамилова («Богатый жених»). Но Писарев не видел никакой существенной разницы в характере этих персонажей, поэтому его

оценка Шамилова вполне приложима и к Эльчанинову. Сопоставляя Рудиных, с одной стороны, и Эльчаниновых и Шамиловых – с другой, он писал: «Рудин – человек очень недюжинный по своим способностям, но он постоянно собирается сделать какой то фокус, перескочить а pieds joints²⁵ через все препятствия и дрязги жизни... деятельность обыкновенного работника мысли ему сподручна, да вот, видите ли, он – белоручка, он ее знать не хочет; ему подавайте такое дело, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его в восторженном состоянии; он черновой работы не терпит, потому что считает себя выше ее. Эльчанинов и Шамилов, напротив того, представляют собою полнейшую посредственность; они даже в мечтах своих слишком высоко не забирают; им с трудом достаются даже такие рядовые результаты, как кандидатский экзамен; они – просто лентяи, не решающиеся сознаться самим себе в причине своих неудач».²⁶

В своей статье Писарев с удовлетворением отметил резко отрицательное отношение Писемского к людям типа Эльчаниновых и Шамиловых: «Надо отдать Писемскому полную справедливость: он раздавил, втоптал в грязь дрянной тип драпирующегося фразе-

²⁵ Со связанными ногами (франц.).

²⁶ Д.И.Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 217—218.

ра».²⁷

Необходимо иметь в виду, что «Боярщина» появилась в свет одновременно с романом «Тысяча душ». Естественно, что этот большой роман, в котором были подняты самые злободневные вопросы общественной борьбы второй половины 50-х годов, затмил «Боярщину».

В настоящем издании роман печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями опечаток по предшествующим изданиям.

²⁷ Д.И.Писарев. Сочинения, т. I, М., 1955, стр. 220.